



ВАЛЕРИЙ ТАРСИС

ПАЛАТА № 7



1966

*Первые пятьсот экземпляров настоящего первого издания повести Валерия Тарсиса «Палата № 7» — номерные. Снабженные автографом автора они продаются по особой цене.*

PG  
3476  
T34  
P3  
C62

Все права сохранены за издательством «Посев»

© Copyright 1966 by „POSSEV“, Frankfurt/M.

## БИОГРАФИЯ В. Я. ТАРСИСА

Валерий Яковлевич Тарсис родился в 1906 году в Киеве. Отец его был греческого происхождения и работал в известном предприятии «Братья Нобель». После революции отец писателя жил в Баку, где и был арестован. Он погиб в концентрационном лагере в 1942 году.

Валерий Яковлевич Тарсис учился в киевской десятой школе и окончил ее в 1924 году. В 1929 году он окончил историко-филологический факультет университета в Ростове-на-Дону, где он специализировался на западно-европейской литературе и защитил диссертацию на тему «Поэзия раннего ренессанса».

Первая книга В. Я. Тарсиса — «Современные иностранные писатели» — была напечатана в 1929 году. Вплоть до 1937 года Тарсис работал редактором в издательстве «Художественная литература», но сам от литературоведческих работ постепенно перешел к переводам. В. Я. Тарсис перевел 34 книги с разных языков, преимущественно с французского и итальянского. Помимо этих языков он владеет также английским, немецким, испанским и польским.

Первый художественный рассказ В. Я. Тарсиса, «Ночь в Харачое», был напечатан в «Новом мире» в 1935 году, а его первая повесть, «Дездемона», в том же журнале в 1938 году.

В молодости В. Я. Тарсис, как и многие другие из его родных, был настроен революционно. Но процесс переоценки им своих идеалов начался еще в довоенные годы, когда



писатель задумал написать большую эпопею о сталинской эпохе — прежде всего для того, чтобы самому себе уяснить, что такое социализм.

Война прервала занятия В. Я. Тарсиса по сбору материалов для задуманной эпопеи. В июне 1941 года он был направлен на фронт в качестве корреспондента армейской газеты в звании капитана. Тарсис участвовал в Сталинградской битве, был дважды тяжело ранен и около года пролежал в госпитале. Там он познакомился со своей будущей женой — Розой Яковлевной Алкснис. Отец Розы Яковлевны был старый латышский коммунист, член партии с 1903 года.

После войны В. Я. Тарсис возобновил работу над своей трилогией «Прекрасное и его тень». Трудился он над нею изо дня в день в течение одиннадцати лет и написал все три ее части: «Столкновение зеркала», «Порочный круг» и «Черную тень». Размер рукописи в целом — 2.000 страниц на машинке.

После окончания первой трилогии, В. Я. Тарсис вновь занялся изучением действительности, на этот раз постсталинской, и написал вторую свою трилогию, состоящую из романов «Веселенькая жизнь» (опубликован в №№ 54 и 55 журнала «Грани»), «Комбинат наслаждений» и «Тысяча иллюзий».

Затем последовало «Сказание о синей мухе», впервые опубликованное в журнале «Грани» № 52, и повесть «Красное и черное». Эти две вещи вышли в издательстве «Посев» отдельной книгой в 1963 году.

«Сказание о синей мухе», уже с весны 1962 года ходившее в Москве и в Ленинграде по рукам в списках, стало известно и Н. Хрущеву, который распорядился отправить В. Я. Тарсиса в психиатрическую больницу. 23 августа 1962

года писателя схватили и доставили в больницу им. Кащенко в Москве, где он пробыл 7 месяцев. После того, как западная печать и общественность вынудили советских руководителей освободить писателя, он увековечил свое пребывание в больнице им. Кащенко в автобиографической повести «Палата № 7», которую удалось переслать за границу и опубликовать в № 57 журнала «Грани». Это произведение, переведенное на иностранные языки, создало писателю еще более широкую известность за границей, чем «Сказание о синей мухе», которое вышло в нескольких иностранных издательствах незадолго до этого.

Несмотря на то, что Тарсис не мог публиковать своих произведений в Советском Союзе, он продолжал писать, надеясь напечатать их впоследствии на Западе. У него накопился довольно значительный портфель, который помимо упомянутых выше неопубликованных произведений содержит несколько тетрадей философских этюдов и эскизов — цикл «Рискованные догадки»; три сборника стихотворений — «Ночь разводится со днем», «Сомневаюсь во всем», «Танго перед закрытием»; большую поэму «Адский рай» и комедию «Спасибо, не хочу», в которой действие происходит в течение одного дня на борту океанского парохода.

Кроме того В. Я. Тарсис написал исторический роман из эпохи Леонардо да Винчи «Флорентийская лилия». Писатель настолько тщательно изучил итальянский язык, историю и культуру, что написал книгу стихов и поэм на итальянском языке.

Воспользовавшись тем, что ряд иностранных университетов и общественных организаций приглашал В. Я. Тарсиса за границу, советские власти в феврале 1966 года предоставили ему право выезда за границу, но тотчас после этого лишили его гражданства и тем самым права на возвращение в СССР.

По прибытии в Лондон, В. Я. Тарсис выступил также как публицист. Обширные интервью и статьи писателя появились во многих крупных газетах и журналах западных стран.

В. Я. Тарсис всю свою жизнь активно участвовал в общественной жизни. Особенно же после выхода из психиатрической больницы у него установились прочные связи с нарастающим движением вольной литературной молодежи. Писатель проводил с молодежью семинары, беседовал, читал лекции о современной философии, о наших связях с Западом, о будущей возрожденной России, передавая молодежи свой богатый жизненный опыт, свою неукротимую энергию и свою непоколебимую веру в грядущее освобождение нашей страны.

Оказавшись против своей воли на положении политического эмигранта, В. Я. Тарсис намерен продолжать не только свою литературную (он уже работает над новым романом «Далеко от Москвы»), но и общественно-политическую деятельность.

В связи с приближающимся шестидесятилетием В. Я. Тарсиса, издательство «Посев» приступает к изданию его сочинений, которое предполагается выпустить в течение ближайших нескольких лет. Одновременно многие произведения В. Я. Тарсиса выйдут и на иностранных языках.





## ТРИ ГОДА СПУСТЯ...

Звонок.

Я открываю дверь. В полумраке коридора стоит высокий незнакомый юноша. На мой вопросительный взгляд он отвечает широкой улыбкой, словно лучи солнца осветили его лицо, охватывает руками мою шею и восклицает чуть глуховатым ломающимся голосом:

— Да неужели вы не узнаете меня?

Ну, конечно, это ведь Женя, мой однополчанин из палаты № 7. Пусть вас не удивляет слово «однополчанин». Всем известно, с каким радушием и волнением встречаешь однополчанина, особенно из тех, с которыми ты вместе был в бою, вспоминаешь далекие, незабываемые дни, павших друзей, судьбы выживших. Я всю войну провел на фронтах, был трижды ранен и контужен, у меня было много друзей — однополчан, но должен признаться, что еще с большей нежностью и душевным волнением я вспоминаю и встречаю других однополчан, соратников и друзей, с которыми мне довелось сражаться плечо к плечу в другой большой битве, еще не оконченной и поныне — битве свободолюбивых русских людей против советско-коммунистических поработителей, битве за счастье и волю моего народа.

Одним из драматических эпизодов этого большого сражения была наша схватка с врагом в палате № 7. Для меня всегда было и останется символическим наше пребывание в палате № 7 Всесоюзной Психиатрической больницы им. Ка-

щенко. Повесть моя об этих горячих днях нашла отклик в сердцах людей доброй воли на всей земле.

И вот предо мной стоит Женя, выросший, возмужавший, окрепший. Вспоминаем дни, проведенные вместе в палате № 7, друзей, и, естественно, говорим о перспективах, о будущем. Я рассказываю ему о больших сдвигах, растущей оппозиции, смогистах, демонстрациях молодежи. Он слушает с большим вниманием, не перебивает меня. Потом, когда я умолкаю, говорит своим чуть глуховатым голосом:

— Обо многом из того, что вы рассказали, и до нас докатилась весточка. Да и я не приехал с пустыми руками. Гостинца вещественного я, конечно, не привез — в нашем городе даже нет предметов первой необходимости, а о подарках и говорить не приходится. Но я думаю, что подарок, который я привез, для вас будет намного дороже. Так вот... мы не забыли нашу клятву, когда расставались с вами. С горечью должен признаться, что мы надеялись на более обильные плоды или трофеи после нашей битвы в палате № 7. Тысячи и тысячи людей по-прежнему томятся в сумасшедших домах, лагерях и тюрьмах. Но зато окрепла и решимость народа сбросить это страшное ярмо. И я рад вам сообщить, что в нашем городе вся молодежь готова восстать...

Тут я перебил его:

— Ну, ты, наверное увлекаешься, Женя. Это, конечно, естественно для двадцатилетнего юноши. Помнишь стихи Ростана:

Мне двадцать лет, я сын Наполеона

И ждет меня корона.

Он с жаром возразил:

— Нет, нет... Это не мечты, не фантазия. У нас крепкие связи. Только скажите слово...

— Слово будет сказано, Женя. И разумеется, не мною, — я только поэт, высказывающий вслух думы и чаяния народа. Но есть и у нас, и за рубежом политические деятели, которые готовят народ для решительного восстания против коммунистических поработителей. И когда созреет время, раздастся призывной сигнал, и начнется генеральное сражение за освобождение нашей Родины.

Мы еще долго беседовали о будущем. Глаза Жени светились умиротворенной печалью. Ночь была на исходе. Занималась жемчужная, багряная заря нового дня.

Был канун Нового года — тысяча девятьсот шестьдесят шестого. Я прочел на прощание свое стихотворение «Памятник», которое кончалось следующими словами:

Не медь, не бронза, не гранит  
Наш подвиг для потомства сохранит,  
А знамя вольности над куполом Кремля  
и Русская Свободная Земля.

*Раскачка такая пойдет,  
какой еще мир не видал...  
Затуманится Русь, заплачет  
земля по старым богам...*

**Ф. ДОСТОЕВСКИЙ**

## ПРОСПЕКТ СУМАСШЕДШИХ

*Каждый старается как можно меньше походить на самого себя. Каждый принимает уже указанного хозяина, которому подражает. Однако можно иное прочесть в человеке. Но не смеют. Не смеют перевернуть страницу. Законы подражания — я называю их законами страха.*

АНДРЕ ЖИД

Стоял сентябрь — месяц увядания, цвели, розовели безвременники. Тоска, словно тяжелая секира, с глухим и неясным гулом раскалывала дни, как дубовые бревна в серые щепки, пахнувшие прелым листом.

Может быть, основное и главное для Валентина Алмазова и заключалось в тягучем, однообразном, слишком медленном течении нескончаемой реки времени. Возможно, и даже весьма вероятно, что вокруг не происходило ничего существенного, — да и что еще может случиться в этой шестой части мира, мало-помалу превратившейся, в силу неимоверного сужения масштабов советского крохоборческого существования, в одну шестьдесят шестую... Валентину Алмазову давно уже казалось, что даже в княжестве Монако масштаб жизни обширнее, чем в наглухо закрытом концентрационном лагере где некогда жила, неистово буйствовала, верила, разочаровывалась и снова буйствовала, бунтовала святая Русь.

Он шагал — высокий, светлорусый, кареглазый, румяный, моложавый (никак не дашь ему полвека озорного и про-

пащего круговращения) — как всегда возбужденный, легкой пружинистой походкой по длинному коридору, конца которого не видно было в тусклом мареве утра. Рядом с ним шел геолог Павел Николаевич Загогулин, его ровесник, тоже очень моложавый, краснощекий брюнет, юношески-подвижной, и скрипач Женя Диамант, круглоголовый, медлительный, словно был он уж очень умудрен двадцатью двумя прожитыми годами и безумным хаосом мира, внезапно открывшимся перед ним.

Позади, как всегда, шла толпой чёртова дюжина — постоянная свита Валентина Алмазова, который очень быстро стал признанным главарем тридцать девятого отделения главной психиатрической больницы Советского Союза.

Было еще совсем рано.

Лиловые тени клубились в углах, зловещие и безмолвные. На диванах и стульях дремали, спали, храпели сестры, фельдшера, сиделки, санитары; за окнами качались светло-желтые тени фонарей, громыхали грузовики с бидонами, ведрами, ящиками, перекликались дворники: сквозь открытые фрамуги доносились их голоса, грубые и хриплые; и непрерывно звякали ключи в замочных скважинах, хлопали двери. Взад и вперед по нескончаемому коридору, прозванному Проспектом Сумасшедших, торопливо шли врачи, сестры, буфетчицы, рабочие, иные — бегом, вприпрыжку, другие вразвалку, запыхавшись, как шестипудовая тетя Лена — всеобщая любимица; она только что вернулась с утрени из церкви Николая-Посадьях, со всеми приветливо здоровалась, с прибаутками и присказками, и трижды перекрестила Валентина Алмазова, за которого молилась ежедневно, а по воскресеньям заказывала молебен о здравии.

До завтрака оставалось еще более двух часов, но на проспекте было уже шумно, и суетилось множество людей. За эскортом Валентина Алмазова шагали парами и группами, — шла утренняя разминка так называемых больных. Вначале трудно было понять, чем они отличаются от здоровых, но потом становилось ясно, что они тем только и отличаются, что

они действительно здоровые, смелые, нестигаемые, неудобные и непригодные для рабского существования.

Шагали люди, измученные бессонницей, бездеятельностью, безвыходностью опостылевшего призрачного бытия. В углах и нишах небольшие группы и одиночки делали утреннюю зарядку, и, как всегда, громко гнусавил Леонид Соловейчик, требовавший, чтобы дежурная сестра открыла ему шкаф, где хранились продукты больных — приношения родных.

— Я голодаю, я умираю с голоду! — орал он, наступая на оробевшую сестру. Его дряблые щеки, тройной подбородок, живот беременной бабы тряслись от возмущения; на вид ему можно было дать сорок лет, хотя еще только недавно ему минуло двадцать два. Никто не знал в точности, кто он, — каждому Соловейчик врал и сочинял легендарные биографии, за день — десяток версий, явно лживых и противоречивых, — но это его не смущало, и если его кто-нибудь уличал, он говорил жалобно, не находя другого оправдания:

— Но я ведь больной.

Так он последовательно числился студентом-медиком, помощником кинорежиссера, журналистом, чекистом. Отец его — старик, щедушный и подавленный, — говорил с ним робко и заискивающе, хотя был каким-то ответственным работником; ему было стыдно, так же как и всем остальным, за эту неприятно пахнущую тушу; пожалуй, больше и не было таких отталкивающих личностей среди полтораэта пациентов тридцать девятого отделения. Соловейчик был болен только неимоверной распушенностью единственного сынка крупного советского бюрократа. Впервые он попал сюда, как и многие другие, чтобы избавиться от службы в армии, а затем отправился в сумасшедший дом после особенно диких похождения — краж, спекуляций, изнасилования.

Валентин Алмазов сравнительно недавно находился в палате № 7, где занял тринадцатую койку в углу, около окна с небьющимися стеклами, двойными рамами, наглухо заколоченными и затянутыми изнутри полотняными занавесками, чтобы нельзя было смотреть на улицу, где росли молодые тополя, цвели цветы, бегали кошки, ходили люди, и вообразить,

что там идет какая-то жизнь. Но Валентин Алмазов, давно уже знавший, что хаос существования поглотил на его земле все живые родники, имел однако, про запас, как и все настоящие люди его злосчастной страны, один неистощимый родник живой воды, питавший его душу в лихие години плена. Этот неиссякаемый родник — неутомимое, вечное юное, полное надежд и упований воображение. Оно день и ночь рисовало перед ним картины настоящей, свободной, светлой жизни, которая кипела и бурлила в свободном мире, и оттого, что он был лишен ее, она казалась ему, быть может, еще во много раз прекраснее, чем была в действительности.

В сущности, для Валентина Алмазова, так же, как и для его друзей, единственным мерилom Прекрасного была свобода. После сорока лет, — страшные сороковины! — каторги и злодеяний, у него и у всех честных русских людей, томившихся в неволе, стерлись представления о добре и зле; вернее, всё казалось злом, и о добре уже никто не помышлял, не вспоминал, разве только старики, еще помнившие незабвенное доброе время, казавшееся теперь потерянным раем.

Валентин Алмазов понимал, что без добра не может быть настоящей жизни, но ему так же ясно было, что надо прежде всего обрести свободу, выволить народ из чудовищного плена, убрать с лица родной земли преступных уродов и затем уже осуществлять новые идеалы Добра, — искать их заново, когда будет зажжен светильник Свободы...

Шум на Проспекте Сумасшедших всё нарастал, — приближался час завтрака. Все с нетерпением поглядывали на закрытые створки буфетной, ждали, когда они, наконец, раскроются и милостивая буфетчица Маша начнет выставлять на стойку тарелки с нарезанным хлебом, сахаром и крохотными квадратиками сливочного масла, а дежурные побегут по палатам, выкрикивая:

— На завтрак!

Некоторые любили подольше поваляться в постели. С них бесцеремонно срывали одеяла, подталкивали. Вот появился на Проспекте и единственный больной — Карен. Впереди выступал его непомерный живот, напоминавший большой ба-



рабан, затем выплывала овальная черноволосая голова, вечно смеющиеся миндалевидные глаза, лучистые и мечтательные, тугие малиновые щеки и руки, в непрерывном движении описывающие замысловатые узоры в мглистом воздухе.

Места за столиками в столовой были заняты еще в семь часов утра, — завтракали и обедали в три очереди, — но Карену охотно уступали место. Жалели. Ему было двадцать пять лет; тринадцать из них он провел в больнице, известной в России под названием Канатчиковой дачи. Карен всё время разговаривал, умопомешательство его последовало за менингитом; и говорил он почти только о себе, редко о других, и всегда в третьем лице. Он любил Алмазова и, подойдя к нему, сказал:

— Вот он — Карен мой любимый, Карен мой родимый, милый, обреченный армянин. А ты зачем здесь сидишь, глупый — не можешь найти лучшего места?

— Не могу, Карен. А где лучше?

— Дома лучше. Была у Карена мамочка Наташа вчера. Принесла Карену рубаху. А домой не берет.

На лице его появилась блаженная улыбка, как всегда, когда он говорил о матери, а упоминал он о ней очень редко. Он умел также ненавидеть. Соловейчика презирал, и когда тот к нему приставал с расспросами, кричал:

— А тебе какое дело?

— А мама твоя красивая, — сказал тот однажды с плотоядной улыбкой.

Тогда Карен размахнулся, ударил его наотмашь так, что из носа Соловейчика хлынула кровь, и он завизжал, как свинья, которую режут.

— Не надо драться, Карен, — сказала укоризненно сестра Дина, высокая, с иконописным византийским профилем.

— Почему не надо? Надо! Он гадкий. А ты красивая, такая ты красивая.

И Валентин Алмазов подумал, что даже этот единственный больной, тоже неизвестно зачем здесь находившийся (ведь он был неизлечим, и его не лечили), был тоже более до-

стойным, чем здоровые окаменелости, нелюди, мучившие народ, — Карен умел любить и ненавидеть.

Валентин Алмазов между тем убеждал Василия Голина, художника, изможденного, с выцветшими глазами человека неопределенной профессии, возраста, судьбы, родом из Камышина, что он витает в небесах, а жить надо на земле. Голин вместе с молодым философом Иваном Антоновым создали теорию «раскрепощения советского разума от сталинских оков» и верили, что им удастся убедить нынешних вождей перейти на их позиции, и жизнь станет прекрасной, — оба они соглашались, что так дальше жить нельзя.

— Поймите, наконец, что конфликт нашей эпохи носит характер особый, исключительный, небывалый, — говорил Алмазов. — И, разумеется, не имеет ничего общего с политическими кризисами предшествующей истории. И это чистейший идиотизм узколобых маньяков — утверждать, что возможно мирное сосуществование двух антагонистических лагерей. Ведь сегодня дело идет не о том или ином режиме или системе равновесия, а о главном — быть или не быть человеческой личности. Единственная непререкаемая ценность на земле для человека — это свобода личности. А коммунисты выдвинули альтернативу: не человек, а коллектив, не личность, а стадо. Но разве человечество пойдет на то, чтобы превратиться в безмолвное и безмозглое стадо? Нет, оно скорее согласится на гибель. И надо понять, что Запад, весь свободный мир ведет борьбу не за торжество каких-то политических формул или систем, а за спасение ЧЕЛОВЕКА от стремления превратить его снова в человекообразную коммунизированную обезьяну. Поймите, понадобились десятки тысячелетий, чтобы из стада выделилась Личность; и вот в человечестве обнаружилось атавистические инстинкты, ностальгия по стаду. И не случайно эти низменные тенденции возникли у «пролетариев», нищих духом, и закономерно их вождями являются узколобые фанатики. Ни один из гениальных мыслителей, которые всегда являются аристократами духа, от Гераклита до Ницше, не мог бы создать столь убогое и жалкое учение, как этот бородатый немецкий филистер Маркс.

И только тупоголовые талмудисты наших дней, а также демагоги и злодеи, вроде нашей правящей камарильи, могут за ним следовать. Правда, я ни на минуту не сомневаюсь, что Человек победит обезьяну. Нельзя сомневаться, что в новый век Россия вступит свободная и обновленная, и няньки будут пугать наших внуков зловещей кличкой коммуниста. Однако отмечаю все эти ханжеские коммунистические доктрины — скромность, самопожертвование, мирное сосуществование, сокращение человеческих способностей и возможностей до одной немудреной трудовой операции в жизни-конвейере, доведение потребностей до нищенского материально-духовного рациона. Это — пуританское ханжество лицемеров под революционной маской, новая схоластика, более отвратительная, чем средневековая, новое рабство, страшнее вавилонского.

— Может быть, вы все-таки преувеличиваете, — сказал Голин. Голос у него был какой-то бесцветный, полусонный, вялый, словно он вот-вот уснет, даже глаза у него часто закрывались, когда он говорил дольше, чем одну-две минуты. Настойчивость его казалась не настоящей, а деланной.

— Преувеличивать и преуменьшать, по сути дела, — одно и то же. Ведь вся наша действительность сегодня — гроздь мыльных пузырей на тонкой нитке. Если бы миллионная армия полицейских не охраняла этих творцов и продавцов ярко размалеванных мыльных пузырей, народ давно порвал бы эту нитку, рассеялись бы в пространстве все эти мыльно-пузырчатые иллюзии вместе с их создателями. Разве можно преувеличивать или преуменьшать качества мыльных пузырей? И с одинаковым правом можно называть эти качества достоинствами или недостатками. Все дело в том, как воображение нарисует их тебе. А для того, чтобы нарисовать образ Правды и посмотреть ей прямо в глаза, нужно обладать воображением богатым и смелым, — к сожалению, вы, Василий Васильевич, находитесь в плену у призраков прошлого, совершенно оторвались от реальной почвы и не можете приземлиться. Вы наивны, как рыцарь печального образа, и ваши попытки дальше сумасшедшего дома вас не доведут. О, Боже, какая уйма на-

прасных жертв! Исааки толпами, уже не по инициативе отцов своих, а по собственной, подымаются на алтари и ложатся под нож тирана вместо того, чтобы самим взять ножи в руки и резать разжиревших жрецов.

— На завтрак, давайте, давайте! — выкрикивал гнусавым голосом фельдшер Стрункин. — Ну что тебе — особое приглашение, Самделов? — крикнул он маленькому, страшно худому старичку, у которого было вечно испуганное лицо, такое жалкое и сморщенное, словно он вот-вот заплачет. Стрункин уже подталкивал его пинками, а когда Самделов сел, крикнул:

— Ну-ка, давай овсяную кашу... живее.

— Михаил Самойлович, ради Бога... не могу есть, я чай выпью... пожалуйста...

— Никаких чаев! Ешь! — Стрункин взял со стола почерневшую оловянную ложку, ткнул ее в миску, потом поднес ко рту Самделова и стал левой рукой разжимать ему губы, попутно потчужа несчастного зуботычинами:

— Ешь, балда, не то в пятое отделение пойдешь.

Пятое отделение для буйных было пугалом, которого все боялись; там ни с кем не церемонились. Могли даже избить до потери сознания, никто за это не отвечал. Всем больным, за редким исключением, говорили «ты», независимо от того, был ли это рабочий, колхозник, ученый, художник или музыкант. Самделов, известный библиограф, был, как и многие другие, водворен сюда родственниками, захотевшими избавиться от присутствия нежелательного человека; этот прием широко применяется социалистическими гражданами для того, чтобы расширять свою скудную жилищную площадь, — ведь нередко две семьи живут в одной комнате. Никакого психического заболевания у Самделова не было. И то, что его поместили в тридцать девятом отделении, которое одновременно служило клиником института усовершенствования врачей, было большой привилегией.

Кроме единственного безнадежно больного Карена, остальные фактически отбывали здесь наказание, ниспосланное им советской судьбой, более страшной, чем все злосчастные судьбы мира. Непонятно было, почему затесался один

больной среди здоровых. Одни говорили, что он просто здесь содержится как наглядное пособие для курсантов. Другие утверждали, что состоятельные родители Карена, — отец и мать были научными работниками, — дали администрации изрядную мзду. Но всё это не имело значения. В этом застенке, где влачили свои дни обреченные узники, Карен был единственным баловнем судьбы.

— Наконец-то я увидел счастливого человека на этой проклятой Богом земле, — как-то сказал своим друзьям Валентин Алмазов. — И в первый раз за полвека.

Карен действительно был счастлив. Пребывая в блаженном неведении, он был уверен, что живет в лучшем из миров, и поэтому его не терзала извечная тираническая мысль каждого человека о том, что нужно улучшить, по крайней мере, свою жизнь, если уж для мира ничего сделать нельзя. Он всегда что-нибудь напевал или разговаривал с самим собой; это было понятно, — у него не могло быть более интересного собеседника, который бы так хорошо понимал его и сочувствовал его радостям и светлой грусти, изредка набегавшей, когда он становился «милым обреченным армянином». Он почти достиг состояния нирваны, не затрачивая на это почти никаких усилий, в то время как тысячи мудрецов достигали его нечеловеческим трудом и нередко ценою жизни. Карен не успел узнать, что такое зло. Все его любили, и даже Стрункин и санитары, походившие на трактирных вышибал, никогда не трогали его, называли ласково — Каренчик, Кареш. Он обладал аппетитом Гаргантюа, и все его угощали сладостями, фруктами, закусками; он никогда не впадал в уныние, только порой слишком бурно выражал свою жизнерадостность, и тогда ему вливали под кожу аминосин для успокоения.

За окнами в лазурно-золотистом воздухе кружатся багряные и желтые листья, мир прекрасен, и где-то вдалеке, там, где заходит солнце, живут люди; живут, а не существуют; а здесь можно только наестся до отвала, потом весь день болтать о жизни там, где нас нет, принять лошадиную дозу снотворного, спать, если удастся.

— Таблетки, таблетки, получайте!

Все покорно выстраиваются гуськом перед столиком дежурной сестры. Отказываться от лекарств нельзя, иначе предстоит болезненный укол. Врачи, ничего не смыслящие в психиатрии, ибо учили их, особенно на практике, только полицейскому шарлатанству, ставили диагнозы, как им вздумается, да это и не играло роли: все равно лечили всех одинаково, — неврастеников и шизофреников, маньяков и параноиков, возбужденных и подавленных; лечили, главным образом, аминоксином, как чеховский фельдшер всех лечил касторкой.

После завтрака — обход. Все расходятся по палатам. Санитарки моют полы, убирают. Больные в ожидании обхода лежат на койках — все в поношенных полосатых пижамах, которые меняют раз в десять дней. Лежат, разговаривают, ругают скверную невкусную пищу, персонал, жизнь, мир.

В палате № 7, где коротает свои дни Валентин Алмазов, всякой твари по паре. Но когда люди разных судеб вытягивают один жребий, перекресток, где они встречаются, становится на время их родным общим домом. А для Валентина Алмазова эта палата стала как бы его священническим приходом — через месяц он уже знал всех своих прихожан.

Их можно было разделить на три больших категории.

Первая, самая распространенная, состояла из самоубийц, потерпевших неудачу в час расставания с постылым существованием. Было общепризнанно, — руководителями, врачами, идеологами, писателями, — что если человеку не мил социалистический рай, он — сумасшедший и его надо лечить. Холопы-врачи, в своей лакейской угодливости перед начальством, услужливо выдвинули теорию, согласно которой только психопат может покушаться на свою жизнь. Стало быть, не ужасные, невыносимые условия жизни, а болезнь толкнула их на самоубийство. Их лечили всё тем же аминоксином — месяцами, иногда годами. Многие привыкли к этому существованию и даже не хотели уходить. «На воле не лучше, а скорее хуже», — говорили они меланхолично.

На Проспекте Сумасшедших почти не видно было пожи-

лых людей; покушавшиеся на свою жизнь были почти без исключения молодые.

Вторая по численности группа состояла из так называемых «американцев». Это были люди, пытавшиеся установить связь с каким-либо иностранным посольством (большей частью, американским — отсюда и происходила кличка) или с туристами из свободного мира. Среди них были и смельчаки, высказавшие желание эмигрировать.

Наконец третья группа, с менее выраженным амплуа, состояла из молодых людей, которые не могли найти себе определенного места в нашей жизни, отвергали все стандарты, сами не зная иногда, чего хотят, но зато твердо знали, чего не хотят. Прежде всего, они не хотели быть солдатами. Им внушала отвращение сама мысль о военной муштре, необходимость с утра до ночи выслушивать казенные истины, которые они считали фарисейством и ложью. Особенно невыносимой казалась им дисциплина. Они не хотели ничему и никому подчиняться, их тошнило от упоминания о родине, общественных работах и нагрузках, которые все-таки приходилось выполнять (почти все они были комсомольцами, а комсомольский билет был почти так же обязателен, как аттестат зрелости для поступления в высшее учебное заведение). Зато пребывание на Канатчиковой даче давало наверняка освобождение от военной службы, что устраивало всех, а многим, сверх того, предоставляло время для размышлений, возможность посмотреть на действительность со стороны; можно было помедлить с принятием решений, выбором пути, уйти надолго из родного дома и избавиться от ненавистной опеки родителей. Иным это даже нравилось. Один студент, когда его выписывали, чуть не плакал.

— Учиться мне неинтересно, — жаловался он Валентину Алмазову. — Работать еще меньше. А здесь меня никто не заставляет делать то, чего мне не хочется. Встречаешь много замечательных людей, я уже здорово отшлифовал свой мозг беседами, игрой в шахматы и прочей умственной гимнастикой. А там на воле все заняты только отупляющей

группистикой. И родители не мешают жить. Вы не представляете себе, какой это тяжелый и нудный балласт — все эти родители, особенно, передовые, опытные, образованные. Мой папахен — профессор, его деятельность не раз отмечена правительственными наградами, сентенции и нравочения валяются на мою бедную голову, как из рога изобилия, обалдеть можно. В официальных кругах принята версия, что у нас нет проблемы отцов и детей. Дети мол, естественно продолжают героические дела отцов. Но это утверждение, как и все официальные оптимистические доктрины, — ханжество и фальшь. На деле это выглядит совершенно иначе. Дети не только не желают идти по героическому пути отцов, заведшему их в тупик, но попросту не обращают никакого внимания на отцов, в лучшем случае — снисходительно посмеиваются над их героизмом, а порой посылают к чертям. Когда мой высокоученый папахен разглагольствует, мне это в одно ухо входит и тотчас же выходит в другое. Хотя, должен сказать, у нас действительно были настоящие героические отцы, те, которые расстреляны сталинскими сатрапами или которые сейчас отсиживаются в сумасшедших домах и на тому подобных курортах. И скажу вам без утайки: ребята, которым посчастливилось иметь таких отцов, не нам чета. Они знают всею настоящую цену, — и прошлому, и нынешнему режиму, — и знают, что им делать.

— А что именно?

— Не надо спрашивать. Вы сами учитесь этому. И я тоже ваш ученик.

К этой группе молодых, большей частью находившихся здесь по просьбе родных, можно причислить и пожилых, вроде Самделова и Загогулина, тоже находившихся здесь по проискам их близких. Все они пришли в палату № 7, обитель Валентина Алмазова, разными путями, большей частью против воли, поэтому тюремный режим казался им нормальным.

По-видимому, этот режим казался нормальным и врачам, которые, несмотря на удручающую скудность их поз-



наний, всё же не могли не видеть, что больных здесь нет. Но если обитатели Канатчиковой дачи не были больными, то и врачи не были врачами, а просто полицейскими надзирателями над шестью тысячами неблагонадежных граждан. Кстати, когда была основана больница, то и в дореволюционные годы число больных никогда не превышало тысячи. Палата № 7, а потом и все остальные стали называть лечащих врачей — лечащими врагами. Сочинили «психический интернационал», в котором были такие куплеты:

Вставай трудом обремененный  
весь мир психических рабов,  
кипит наш разум возмущенный  
при виде лечащих врагов.

Это есть наш последний  
и решительный вой,  
с аминозином  
завянет род людской.

По утрам все дружно распевали этот гимн.

Заведующая отделением Лидия Архиповна Кизяк, женщина неопределенного возраста, неуловимой внешности, но вполне определенных взглядов и профессии — манекен полицейского врача, была уверена, что все эти песни сочинял Алмазов, и просила его не вести антисоветской пропаганды. Алмазов с недоумением смотрел в ее пустые стеклянные глаза, и ему казалось, что если распахнуть халат Лидии Архиповны, то под ним окажется не человеческое тело, а кукла из папье-маше, пахнущая дешевым одеколоном.

— Вы полагаете, что я способен заниматься такой бесполезной чепухой? — спросил Алмазов.

— Это не чепуха, и вы только себе вредите.

— Советская власть всеми своими злодеяниями вот уже скоро полвека ведет антисоветскую пропаганду, — и делом, а не словами, — так что состязаться с ней я не берусь.

Она так опешила, что безмолвно повернулась и почти

бегом удалилась из палаты. С тех пор она редко заглядывала в палату № 7; она очень боялась больных, никогда с ними не разговаривала наедине и если к ней кто-нибудь обращался, когда она проходила по Проспекту Сумасшедших, она делала вид, что не слышит, ускоряла шаг и торопилась укрыться в своем кабинете.

Таким же отвратительным полицейским высшего ранга был Абрам Григорьевич Штейн. Он тоже ничего не смыслил в душевных заболеваниях, полагал, как все марксисты, что психические болезни проистекают из каких-то функциональных физиологических деформаций, и не признавал никакой души; в самом слове «душа» ему мнилось нечто антисоветское. Он был отталкивающе самоуверен и груб, больные его ненавидели. Остальные врачи представляли собой разновидности комбинированных обликов Штейна-Кизяк с незначительными вариациями. Однако были и счастливые исключения: главный психиатр министерства здравоохранения академик Андрей Ефимович Нежевский и еще сравнительно молодой врач, заместитель Кизяк, — Зоя Алексеевна Махова.

Нежевский, высокий, стройный, с отливающим тусклым блеском серебристым ежиком, с умными пронизательными глазами, веселый, остроумный, подвижной, несмотря на свои семьдесят четыре года, ученый с мировым именем, часто бывал за границей на различных конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах. На Канатчиковой даче ему показывали только наиболее интересных пациентов, которых врачи боялись и опасались лечить обычными средствами.

Андрей Ефимович знал, что именно надо предпринимать в каждом случае, но еще лучше знал, что настоящее лечение — неосуществимо, конечно, в советских условиях.

Он был последователем Ганди, тщательно изучал индийскую философию и прекрасно понимал, что советская действительность десятилетиями террора, злодеяний, войн, страха, насилия и неуверенности в завтрашнем дне искаверкала все человеческие души, что вполне психически здо-

ровых вообще не существует и не может быть в подобных нечеловеческих условиях и что лечить душевные потрясения можно только одним-единственным лекарством — приемлемым образом жизни; это был основной метод лечения французской школы психиатров. Поэтому он считал, что смешно называть больными манией преследования советских людей, которых уже сорок лет преследуют, у которых отцы расстреляны или замучены в концлагерях. Надо перестать преследовать людей только за то, что советский режим не приводит их в восторг, надо восстановить демократию, которая у нас полностью ликвидирована, предоставить людям свободу, прежде всего свободу передвижения, ибо многих, очень многих дальнейшее пребывание в советском раю грозит окончательно свести с ума и толкает на самоубийство. Упорно поговаривали, что чуть ли не половина москвичей находится на учете в психиатрических диспансерах. Через одну Канатчикову дачу ежегодно проходит до семнадцати тысяч больных, а ведь существует еще много больниц; например, в знаменитых подмосковных «Столбах» содержалось одновременно до двадцати тысяч душевнобольных. Упорно говорили также, что под Казанью есть специальная психиатрическая больница, где фактически содержатся тысячи политических заключенных. Андрей Ефимович, конечно, знал, что неугодные попадают сейчас не в тюрьмы, а в сумасшедшие дома, и был глубоко возмущен этим лицемерием; таким образом можно было утверждать, что этих людей не подвергают репрессиям, а «лечат».

Андрей Ефимович с глубокой горечью сознавал, что этой беде он помочь не может; его вмешательство вызвало бы отставку, а жить без людей, без труда он не мог. И старался по мере сил помогать отдельным лицам, наиболее достойным. Метод его был незамысловат: лечить так, чтобы не повредить здоровью, какими-нибудь нейтральными средствами, и, подержав для видимости человека месяца два, выписать его как здорового. Авторитет Андрея Ефимовича был настолько велик, что никто из полицейских не посмел бы ему перечить или заподозрить его в недобросовестности.

Кроме того, — что скажет Европа? Можно наплевать на своих, но с чужими приходится считаться — мы ведь тоже европейцы.

Когда Андрей Ефимович говорил об успехе советской психиатрии, он добродушно улыбался, — улыбка его была обаятельной и обезоруживающей, — и как-то однажды он сказал:

— Что ж, из чеховской палаты № 6 мы, пожалуй, перешли в палату № 7, более благоустроенную.

«И более страшную, невольно подумал он и вспомнил американскую тюрьму Синг, со всем современным комфортом, — можно ли это считать прогрессом социальной справедливости, морали?»

Палата № 7 была несравненно комфортабельнее палаты № 6, но всё же Андрей Ефимович, постоянно читавший и перечитывавший Чехова, всегда находил, что и сегодня можно было с полным правом повторить чеховские слова как оценку нашей действительности:

«Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это — выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли...»

Разумеется, обстановка изменилась, внешне всё прилично — чисто, порядок. Однако учреждение это было еще в большей степени безнравственным и вредным, так как здесь не лечили больных, а калечили, и больницу превратили в тюрьму.

Андрей Ефимович Нежевский, академик и главный психиатр, видел нечто знаменательное в том, что он является тезкой чеховского доктора из «Палаты № 6» и что их мысли и переживания во многом совпадают. С большой душевной болью перечитывал он чеховские строки:

«Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право».

Он мог бы уйти с работы, — возраст вполне позволял ему это, персональная пенсия обеспечила бы его несложные нужды, — но Андрей Ефимович не мог не работать. Он знал, что одиночество в большой и неудобной квартире, «черные мысли, как мухи» (слова из романса, который он пел в студенческие годы) быстро сведут его в могилу — в лучшем случае, а в худшем — приведут его в отчаяние, куда-то на самый край ночи.

И он решил примириться с теорией «малых дел», которую зло высмеивал в юности. Ничего не поделаешь, — у старости другие требования, другие законы. Андрею Ефимовичу казалось, что если ему удастся ежегодно спасать несколько человек от принудительного «лечения», это будет не меньше, чем спасти их от каторги, тоже усовершенствованной, но не менее тяжелой для души.

А спасти человеческую душу, может быть, и не малое дело...

С врачами Андрей Ефимович обращался небрежно, даже несколько заносчиво, не потому, что натуре его присуща была надменность, а потому, что не уважал их, не любил, как всех чиновников вообще. А медицинские чиновники казались ему особенно отвратительными, — среди них он выделял ответственных работников министерства здравоохранения, которые захлебывались от сознания собственного величия и хвастались, как истые хлестаковы. И он снова вспоминал слова чеховского доктора: «... Сущность дела нисколько не изменилась... Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, всё вздор и суета...»

И что-то страшное, невыразимое вселялось в его душу, когда он читал: «Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье... Значит, в своей нечестности виноват не я,

а время... Родись я двумястами лет позже, я был бы другим».

Однако родиться на двести лет позже Андрею Ефимовичу не хотелось. Он часто жалел, что не родился двумя тысячелетиями раньше, в Элладе — стране философов и поэтов. Люди настолько измельчали, что ему даже не с кем было побеседовать по душам; все озабочены мелкими и мельчайшими личными делами, — квартирами, приработком к скудной зарплате, публикацией никому не нужных «трудов», поисками теплого местечка, «доставанием» манной крупы и лапши; а сколько сплетен, интриг, злословия, — какая сногшибательная пошлость! До революции русская интеллигенция была в десять раз выше... Такое невероятное измельчание! Даже читать нечего. Да, прав был Мережковский — «Грядущий хам!» Какой пророк!

Книги советских писателей Андрей Ефимович никогда не читал, а их самих даже не считал писателями, а литературными чинушами, достойными презрения.

У него не было друзей, родные разбрелись по белу свету, с врачами он не общался. В последнее время он, однако, начал сближаться с Зоей Алексеевной Маховой, которую поначалу тоже не замечал. Их настоящее знакомство и последовавшая затем дружба начались при обстоятельствах необычайных, но об этом потом. А пока хотелось бы сказать, что Зоя Алексеевна, которой шел тридцатый год, производила на всех окружающих впечатление обманчивое, — все без исключения представляли ее себе совсем не такой, какой она была в действительности. Высокая, с горделиво посаженной головой на тонкой шее, с темно-каштановыми волосами, с глазами, как спелый чернослив, с каким-то зловещим отливом, властными и строгими, она казалась всем сухой, самодовольной и жестокой, не терпящей возражений эгоисткой, но в действительности она была великомученицей, которая не могла примириться с этой нечеловеческой жизнью и, вместе с тем, не могла уйти от нее ни на шаг, так как любила людей и жизнь со всей присущей ей страстностью, особенно после того, как потерпела окончатель-

ную неудачу в семейной жизни. Муж ее, тоже врач, был невозмутимым сухим педантом, одним из тех твердокаменных чиновников, которые морщились, когда при них произносили слова «сердце», «душа», «вдохновение». Детей у них не было, — супруг считал, что дети помешают их «плодотворной деятельности на благо родины», требующей «отдать себя всего служению людям и науке», — так он высокопарно декламировал не раз. Но на самом деле он не служил ни родине, ни людям, ни науке, а только себе. Карьерист и ловкий лицемер, он к сорока годам успел стать одним из помощников министра и ведал всеми психиатрическими учреждениями.

Зоя Алексеевна от него не уходила, хотя и нельзя сказать, чтобы она жила с ним. В стране социализма тысячи и тысячи мужей и жен так жили и живут годами, совершенно чужие и даже враждебные, — разойтись почти невозможно из-за квартирных условий. Можно было зарабатывать любые деньги, но квартиру мог дать только всесильный жилотдел, и приходилось ждать по десяти и даже по двадцати лет, а пока жили, как правило, по четыре-пять человек в одной комнате и даже по две семьи.

Кроме того, высокопоставленный супруг Зои Алексеевны, разумеется, член коммунистической партии, считал развод неудобным для карьеры. Она пока не возражала, — ей было безразлично, с какими соседями жить. Они почти не встречались, и ей не хотелось терять удобную квартиру, да и идти было некуда, — она вела большую научную работу, в практической повседневности была беспомощной. Да и то, что она жила с мужем в одной квартире, ни к чему ее не обязывало.

Зоя Алексеевна любила свою профессию, боготворила науку и очень страдала от того, что всё происходившее в больнице было не наукой, а только одними правилами, как в палате № 6, так потрясающе описанной Чеховым. Больше всего страдала она от недоверия больных. Она хорошо знала, что когда больной не доверяет врачу, не только выле-

чить его нельзя, но и невозможно поставить правильный диагноз.

Зоя Алексеевна настойчиво и мужественно преодолевала эту преграду на своем трудном пути. Она часами просиживала с каждым больным, старалась завоевать его доверие. Но слишком часто она ничего не добивалась. И вот неожиданно-негаданно помогло ей одно случайное обстоятельство; в тот день и привлекла она особое внимание академика Нежевского.



## ГОЛГОФА

— Я предпочитаю, чтобы наступил конец света, — со вздохом сказал Дориан. — Жизнь — слишком большое разочарование.

— Ах, мой дорогой, — воскликнула леди Нарборо, — не говорите мне, что вы исчерпали всё, что дает Жизнь. Когда человек это утверждает, для меня ясно, что Жизнь его опустошила.

ОСКАР УАЙЛЬД

Жизнь беспощадно опустошила всех, кого Валентин Алмазов встречал на своем долгом и извилистом пути.

У большинства даже не хватало сил дойти до врат ада, — в чистилище они так долго засиживались, что у них немели ноги, они уже не претендовали на высшую оценку судей, — ведь процесс этот долгий, мучительный, и никогда нет уверенности, что тебе удастся доказать твое право на место в раю или хотя бы в преддверии рая. Судьи Судьбы никого не торопили, у них было много дел и они охотно разрешали претендентам продлить срок пребывания в чистилище, тем более, что оно становилось все более похожим на крошечный ад, — и люди там часто дотлевали, — не каждому дано вынести жар адского огня.

Но Валентин Алмазов, прожив полвека, оставался молодым и сейчас был в самом расцвете своей седой юности. Не думайте, что это фантазия автора, прошло время Бальзака

и Уайльда: Валентин Алмазов не сохранил юношеской внешности Дориана Грея; его высокий лоб был изборожден морщинами, волосы приобрели цвет соли с перцем, как говорили его друзья-итальянцы. В общем, — внешность пожилого человека.

Внешность...

Но разве человека в какой-то мере характеризует его внешность? Разве не был прекрасен горбатый урод Квазимодо?

Душа Валентина Алмазова была такой же молодой, неистовой и страстной, противоречивой, сумасбродной, задорной, влюбчивой, как в незабвенные семнадцать лет. И в этом была его трагедия.

Собственно говоря, единственное, что он твердо знал о себе, — что всегда будет семнадцатилетним, даже если проживет сто лет. У него не было и тени ощущения того, что обычно называют опытом, умудренностью. Напротив, чем старше он становился, тем меньше у него оставалось уверенности в том, что он обладает каким-то ценным опытом или положительными знаниями. Всё увиденное и усвоенное в юные и зрелые годы казалось ему зыбким, эфемерным, недостоверным. Люди, которых он как будто хорошо знал, представлялись ему теперь малознакомыми, и он уже никого не считал своим другом, товарищем, братом. Все родственники, жена, братья, сестры были для него людьми далекими, и он порой удивлялся, что они бесцеремонно входят в его комнату, вмешиваются в его жизнь, дают ему советы: «что этим людям нужно от меня?» — думал он всё чаще, хотя все они были людьми обыкновенными, скорее — хорошими, добрыми, отзывчивыми.

Валентин Алмазов потерял всякое представление о том, что люди вокруг него называли злом, добром, моралью, убеждениями, верой; ему казалось, что всего этого давно уже нет на его родине, которую он считал не матерью, а злой, отвратительной мачехой. Ему трудно было также оценить свою жизнь, поступки. Жить ему было поэтому невероятно тяжело и мучительно. Знал он только одно: так дальше жить нельзя, невыносимо, это не жизнь, а омерзительное

существование, достойное пресмыкающихся гадов, а не человека. Слова перестали звучать, они не имели никакой силы, шуршали как сухие опавшие листья, — безжизненный мусор. И чтобы чем-то убеждать людей, надо слова эти переделать. Переделать немедленно. Ведь они же имели когда-то смысл! Он даже думал создать новую грамматику, переменить расстановку слов в предложении, отбросить знаки препинания, оставив только тире, и, может быть, многоточие. Точки во всяком случае исключить, чтобы слова, набегая толпами, теснились, дрались, прокладывая себе дорогу к сердцу и разуму человека; чтобы язык приобрел красоту и силу не от изысканной простоты, а от огненного темперамента, страсти. Достоевский никогда не блистал изысканностью, у него не найдешь ни одного пейзажа, как у Тургенева, Пришвина, Паустовского; но какая страшная сила — вот как надо жечь глаголом сердца людей! Возможно, что люди тогда начнут искать потерянный смысл слов, — обычным сочетаниям они с полным правом не верят больше, в них нет ничего, кроме лжи, фальши, притворства, мертвечины, особенно в речах вождей, писаниях газетчиков, стихоплетов и вообще всех сутенеров и шлюх, подвигающихся на советских литературных панелях.

Нестерпимая жажда действия — даже священнодействия — мучила, изводила Валентина Алмазова, особенно по ночам. Он прожил много лет, всегда знал непоколебимо, что должен сказать новое слово людям, но страшился как самой последней катастрофы сказать слово, которое не станет делом, которое не станет Богом, претворяющим мир, этот страшный обанкротившийся мир.

Непрерывные годы исканий: он бросался во все крайности, молился в храмах, был коммунистом, но даже не ощутил во всем этом остроты противоречий, — везде господствовала безраздельно та же фальшь, лицемерие, низменные интересы.

Как много богов было и есть у людей, но почти ни у кого нет Бога истинного, и никто, в том числе и Валентин Алмазов, не знал, что такое истинный Бог. Но как безум-

но хочется найти Его в темной ночи, увидеть Его путеводную звезду.

Звезды перепутий, звезды бездорожья, зловеще-кровавые звезды кремлевские — всё это он видел, — только не путеводные; все виденные веди никуда, в пучину ночи, в небытие.

Он шел один, уверенный в своей страшной судьбе, и ежедневно невольно повторял стихи Бориса Пастернака, горячо им любимого:

Но продуман распорядок действий,  
И неотвратим конец пути.  
Я один, все тонет в фарисействе.  
Жизнь прожить — не поле перейти.

Но Валентин Алмазов не был один — одному и дня не выжить. Вместе с ним были вечные спутники, обреченные искатели, небольшая группа, которая, быть может, уже была чем-то больше, чем людьми: Гераклит, Платон, Зенон из Стои, Овидий, Клавдиан, Шекспир, Бэкон, Паскаль, Монтэнь, и во главе всех — Достоевский, который ближе всего человечеству подошел к Богу, но не успел всё досказать о Нем. Валентина Алмазова тайно мучила и приводила в экстаз мысль, что ему выпала счастливая или несчастливая, но во всяком случае завидная доля досказать эту тайну, рассеять туманы, чтобы человечество наконец увидело путеводную звезду.

Жажда томила его.

Как хорошо сказал неведомый индийский мудрец еще двадцать пять веков назад:

«Всё растет жажда безумца (Алмазов давно знал, что все мудрецы, все настоящие люди — безумцы с точки зрения обывателей и полицейских. Мудрец для глупца — опасный безумец), всё тянется она подобно повилыке; он переходит от одной жизни к другой, как обезьяна, ищущая в лесу плодов, прыгает с дерева на дерево (и я был такой обезьяной, искал в лесу плодов и находил только волчьи

ягоды, и падал с деревьев, ломая кости, но также сучья).»

Да, Валентин Алмазов был охвачен этой неутолимой жаждой, и страдания обвивали его, как повилика, всё теснее, и казалось ему порой, что они задушат его. В самые тяжелые минуты он вынимал из ящика свои тетради с записками на многих языках и перебирал свои любимые мысли, как Дориан Грей драгоценные камни. При этом он испытывал жуткое, физически осязаемое наслаждение; лаская страницы, произносил вслух неповторимые слова, сильные, как заклинания; они звучали для него, как сонаты Бетховена. И приносили ему нечто большее, чем утешение — силы жить.

Вот тихий голос Марка Аврелия:

— Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, — неожиданный подарок.

Он так жил уже давно, особенно последние годы, когда ему стало ясно, что коммунизм — это разновидность фашизма, когда он понял, что русская литература больше не существует, и тогда он отдал свои рукописи иностранному журналисту, с которым случайно познакомился. Издатели уговаривали его публиковать произведения под псевдонимом, но он наотрез отказался, хотя знал, что его ждет. Его не интересовало официальное общественное мнение, а подлинного, народного — больше не существовало. Ведь никто в России не говорил уже много лет того, что он действительно думал. В своих высказываниях «общественные деятели» руководились самыми низменными мотивами.

И опять тихий голос Марка Аврелия:

— Если бы ты знал, из какого источника вытекают людские суждения и интересы, ты перестал бы добиваться одобрения и похвалы.

С мучительным стыдом вспоминал он годы своего пребывания в партии. Как он мог так долго не видеть, что все его товарищи, особенно члены партийного комитета, секретари — это просто полицейские! Сейчас это обнаружилось вочию. Когда стало известно, что он передал рукописи за

границу, — узнать это не трудно было, он этого не скрывал, а действовал, как всегда, с открытым забралом, — секретарь парткома позвонил ему по телефону и сказал ласковым голосом:

— Валентин, приходи завтра в двенадцать часов в партком, побеседуем, постараемся тебе помочь.

И вот он пришел.

Секретарь парткома, лысый, седобородый, с пустыми водянистыми глазами вышел к нему навстречу в приемную, и Валентин Алмазов сразу заметил, что он ведет себя как-то странно: всегда самоуверенный, развязный, на этот раз он семеня ногами, потирал руки, вид у него был явно растерянный, и заговорил он, как провинившийся школьник:

— А, здравствуй, дорогой. Идем. Знаешь, тут товарищи из комитета госбезопасности хотят поговорить с тобой. Вот... познакомься. Понимаешь, мы решили общими силами тебе помочь, — такое дело, что... ну, вообще...

Чекисты, — один приземистый, лысый, толстый, другой высокий, худощавый, седой, — ходили взад и вперед по комнате, явно не зная, как и с чего начать.

Валентин Алмазов пережил одно из тех мгновений, очень редких, когда внезапно перерождаешься, становишься как будто сразу на десять лет старше, и всё, что перед тобой годами мелькало в тумане, в сумраке, вдруг становится ярким, выпуклым, приобретает резко выраженное очертание, словно озаренное лучами взошедшего солнца. Он почти не слышал, о чем говорили чекисты, их слова заглушали молоты, стучавшие в его голове; ему стало мучительно стыдно и больно, что всю эту полицейскую банду он в течение многих лет считал состоящей из идейных людей, товарищей.

Лысый толстяк прошамкал:

— Ваше положение тяжелое. Если за границей выйдет ваша книга, мы вас посадим.

— Выйдет не одна... Так что — сажайте. — Алмазов горько усмехнулся. — Значит все заверения Хрущева о том, что у нас восстановлена социалистическая законность — просто липа.

— Ну зачем же так грубо? Мы надеемся, что вы отзовете свои рукописи... Ведь вы коммунист.

— Пожалуй, — сказал Алмазов, думая, что надо срочно отослать за границу остальные рукописи.

Так окончился его роман с партией, который он считал для себя позорным мезальянсом; как янтарные четки, перебирал он звонкие слова Оскара Уайльда:

«Он никогда не впадал в заблуждения, которые могли бы приостановить его интеллектуальное развитие, безоговорочно принимая какую-нибудь веру или систему; он никогда не смешивал дома, в котором ему предстояло жить, с постоянным двором, где можно провести ночь или несколько часов темной беззвездной ночью».

Конечно, в темной ночи Валентина Алмазова не было звезд, и то, что он хотя бы на время принял за них кремлевские пятиконечные, а сомнительный злодейский притон за родной дом, наполняло его душу мучительным стыдом.

Но все проходит.

Валентин Алмазов никогда не испытывал болезненного наслаждения слабых людей, любясь собственными страданиями, своим прекраснодушием и подлостью противников. Надо было стряхнуть сей прах с ног своих как можно скорее; он написал письмо Хрущеву, в котором называл вещи своими именами, и просил разрешить ему выезд за границу.

Ответа долго не было. Прошел месяц, другой, и Валентин Алмазов уже думал, что письмо его останется без ответа, как это всегда бывает, когда обращаешься к твердокаменным советским бюрократам без фимиама и гимнов, а резким словом правды.

Но ответ всё же пришел.

Очарованный чуть поблекшим, но всё же прекрасным августовским вечером, Валентин Алмазов записывал на итальянском языке то, что нашептывали ему первые желтые листья, плившие за окном в золотистой лазури заката. Есть какая-то особая сладостная грусть в еле слышном шелесте вестников осени, которую ждешь с тревогой и ожиданием. Когда неумолимый маляр белит виски, весной уже

ничего не ожидаешь, как бывало в юные дни, — ни любви, ни пожаров страстей, ни прекрасных катастроф. Зато осенью всегда ждешь новых разочарований, сознавая их печальную неизбежность. И когда всё новые и новые иллюзии рассеиваются в терпком осеннем воздухе и шелестят, как сухие листья, кружащиеся стайками у обочины дороги, уже не так больно, как в дни первых крушений, — без плача и стонаний хоронишь их в тайниках сердца, ставшего всеохватно просторным, выносливым; и будто не так уж сильно жалят злые осенние мухи; и обо всем этом пишешь непременно стихами, такими хмельными, что от них кружится голова.

Валентин Алмазов писал итальянскую рапсодию на мотивы своих любимых поэтов Джакомо Леопарди и Джованни Папини. И было даже что-то вещее в том, что его лирические размышления о «Трагической повседневности» совпали с его собственной трагической повседневностью, внезапно вторгшейся в его комнату в лице двух полицейских, старшего дворника, всегда служащего в полиции, и еще какой-то носатой бабы, которая, как сообщил старший полицейский, является представительницей «общественности», долженствующей в будущем заменить органы власти в «народном» государстве.

Вид у них был смущенный. Старший полицейский начал виноватым голосом:

— Извините, Валентин Иванович, но мы вас побеспокоим потому, что начальник отделения милиции имеет к вам особый разговор и просит вас приехать. Дело срочное.

— Какие у меня могут быть дела с полицией? Я ведь не вор, не хулиган, — сказал Алмазов.

— К сожалению, мне это неизвестно. Начальник мне ничего не сказал. Но ведь милиция — орган государственной власти, и вы обязаны поехать.

Валентин Алмазов сразу понял, что быть беде.

Жена его тоже это поняла.

— Я пойду с тобой, — сказала она.

— Да, пожалуйста, — разрешил полицейский.

У подъезда ждала машина, синяя, с красной полосой



вокруг кузова. В отличие от сталинских «черных воронов», народ прозвал эти машины чумовозками.

В милиции его провожатые тотчас же скрылись. У дверей комнаты, куда привели Алмазова, стоял другой полицейский, менее вежливый, — на вопросы не отвечал. Конечно, никаких разговоров с начальником милиции не было. Через десять минут Валентина Алмазова вывели во двор, — там его ждала санитарная машина. Женщина-врач (специальные полицейские врачи-конвоиры) спросила:

— Вы — Валентин Алмазов? По распоряжению главного городского психиатра вас должны обследовать.

— Сволочи! — тихо сказал Алмазов жене. — Полицейские сволочи даже врачей превращают в полицейских. Но не волнуйся, — такие приемы показывают, что они уже боятся. Обманом завлекли. Коммунистические бандиты не уйдут от народной мести.

И пошел к машине. Двое дюжих вышибал в белых халатах смотрели на него тупо воловьими глазами.

Шел дождь.

Странно, час тому назад небо было голубое, а сейчас дождевые струи назойливо стручали в крышу и стекла машины; сопели вышибалы; низкие тучи плыли по небу; они напоминали Алмазову бегемотов, которых он в детстве видел в зоопарке; город казался незнакомым, чужим, враждебным.

Алмазова привезли на пересыльный пункт, — оттуда круглые сутки отправляли с сопровождающими санитарями больных, лечившихся в московских психиатрических больницах, по месту жительства. В двух маленьких комнатах в деревянном бараке скопилось множество мужчин и женщин. Под низким дощатым потолком плавал дым от махорки и дешевых папирос. Было грязно, наплевано. Из двери уборной, почти не закрывавшейся, несло нестерпимой вонью; засиженная мухами лампочка без абажура бросала зловещие тени на людей; жена Алмазова тихо плакала, дежурный врач — женщина средних лет, утомленная, со страдальческим вы-

ражением лица, — говорила, глядя куда-то вдаль, мимо Алмазова:

— Сегодня уже поздно... Доктор Янушкевич уехал. Он будет только завтра в десять часов утра. Что с вами случилось? Скандалили с соседями? Нет? У вас отдельная квартира? Это ваша жена?.. Ах, вот оно что. Ну, конечно... Не вы первый, не вы последний... Такова судьба всех бунтарей... Хорошо еще, что только сумасшедший дом. Моего мужа расстреляли... Недавно приходил ко мне секретарь райкома, утешал, сказал, что партия не забудет моего мужа... Так они всем говорят... Меня удивляет... неужто они думают, что мы, вдовы и сироты, сотни тысяч вдов и сирот, забудем эти благодеяния партии?

Алмазов слушал молча. Его не удивила бесстрашная откровенность усталой женщины. В последнее время всюду — в трамваях, поездах и особенно в бесконечных очередях — люди всех возрастов не скрывали своего враждебно-иронического отношения к советской власти, к ее мнимым достижениям; и здесь следует отметить то морально-политическое единство народа, о котором так много и пышно разглагольствуют партийные функционеры, печать и радио: люди единодушно поносили советских вождей, особенно Хрущева, и особенно с тех пор, как опять исчезли продукты первой необходимости. И чем беднее по виду был человек, тем злее проклинал он очереди, нехватку всего решительно, издевался над мнимыми успехами советской экономики, проклинал дороговизну, ничтожную зарплату, безрукость руководителей, их пустые обещания, которые никогда не выполняются.

— Идите отдыхайте, — сказала женщина, — не отчаивайтесь, ведь вам еще многое придется пережить... Не вздумайте только протестовать — ну, голодовку объявлять или заявления писать, — ведь у нас на это никакого внимания не обращают. Даже на турок и греков подействовали голодовки Назыма Хикмета и Глезоса, — а у нас вы только подвергнетесь издевательствам и ничего не добьетесь. Ведь это не люди, а истуканы, палачи...

Алмазов сел на лавочку. Ему казалось, что всё это происходит во сне. Новая картина из дантовского ада.

Стоявший немного поодаль необычайно худой, — почти скелет, — лысый, неопределенного возраста мужчина, безбородый, как евнух, всё время ухмылялся, поджав тонкие лиловые губы, потом украдкой подошел вплотную к Алмазову и, слегка наклонив голову, заговорил доверительно шопотом:

— Я слышал — вы писатель... Очень интересно познакомиться. Как же вы умудрились уцелеть, если рисковали писать правду?

И в течение какой-нибудь минуты молчания бурей пронеслась в воображении Валентина Алмазова его писательская карьера. Странная, как и вся его жизнь. Он пытался быть советским писателем. Но из этого ничего не получилось. Он буквально приходил в отчаяние, читая рукописи того времени. До того все эти писания были надуманными, притянутыми, беспомощными, — бесспорно значительно хуже, чем у средних бумагомарателей. Теперь ему ясно было, что всё это было закономерно. Не все могут продавать даже свое тело — предпочитают умереть с голоду, утопиться. Но продавать свою душу гораздо труднее. Валентин Алмазов не помнит, когда он перестал быть батраком на литературной ниве. Но он отлично помнит то невыразимое наслаждение, которое он испытал, когда стал писать правду, — с тех пор прошло почти четверть века. Он понимал, что нельзя показать рукописи даже товарищам, — это было бы в сталинские времена равносильно самоубийству. Шли годы, и вот настал час, когда терять уже было нечего. Надо было напомнить миру, что есть еще на свете русский — но не советский — народ, есть честные писатели, — и звать на бой за свободу, разоблачать новых фашистов, душегубов, звонить в набат. Ведь на Западе знают очень мало. Приезжим показывают всё ту же екатерининскую деревню; и даже такие честные писатели, как Колдуэлл и Стейнбек, склонны верить в легенду о советской демократии. Неужели Стейнбек искренне говорит, что не заметил угнетения в Советском Союзе,

что писатель здесь может писать то, что он хочет? Неужели он даже не читал многочисленных заметок в прессе о злощастной судьбе Бориса Пастернака, Александра Есенина? Да... надо раскрыть глаза миру. Надо привести Стейнбека и других деятелей западной культуры в этот заплеванный сарай — пусть он посидит в этом аду с Валентином Алмазовым и убедится воочию, как советский писатель может писать то, что ему хочется. Он тогда узнает, что любые слова правды о советской жизни полицейские называют клеветой. А не задумался ли Джон Стейнбек над тем, что из его двенадцати книг переведены в Советском Союзе только две? И почему? Читатели с наслаждением прочли бы все его книги. Но... А ведь Стейнбек не пишет о советской жизни. Если бы он, не дай Бог, родился в Советском Союзе, он бы не мог напечатать ни одной строки и вернее всего был бы уничтожен сталинскими опричниками или сидел бы сейчас рядом с Валентином Алмазовым в этом аду. Так-то, мистер Стейнбек. Надеюсь, вы на меня не обидитесь за то, что я приглашаю вас в заплеванный сумасшедший дом, — другого места нет теперь в России для честного писателя.

Между тем лысый незнакомец говорил своим шелестящим голосом:

— Любопытная страна Россия — вся ее история исчерпывается формулировкой: сначала за здоровье, а потом за упокой. От Петра Великого шаганула семимильно, создала величайшую в мире дворянскую питерскую культуру, горную цепь с самыми высокими вершинами — божественного Достоевского, глубочайшего мыслителя Василия Васильевича Розанова, — и прыгнула в пучину небытия. Была великая Россия, а стала какой-то недотыкомкой из Сологубовского «Мелкого беса». Между прочим, величайшая книга, тоже пророческая, как «Опавшие листья», как «Грядущий хам». Ныне и завладели Русью сии мелкие бесы; еще Достоевский их изобразил с гениальным пророчеством, именно мелких — ведь в его «Бесах» нет ни одного крупного, сильного, нет даже тени Люцифера; помните-с молодого Верховенского, его чистосердечное признание: мы-де какие социалисты, мы —

мошенники. Покатилась в пропасть жизнь российская, и литература — тоже: серый, неказистый мужичонка Шолохов, грошевые лебедевы-кумачи и прочая мелюзга. И вместо гордого Санкт-Петербурга — нищий Ленинград. Помилуйте, по какому праву? Великому городу было присвоено имя его великого основателя, поднявшего Россию на дыбы, а за что же, позвольте спросить, Ленину? За то, что он поставил ее на колени? Но вы не сумеете ответить на этот вопрос. А я ответил. Умнейший человек Столыпин — истинный птенец гнезда Петрова — об этом хорошо сказал, обращаясь к революционерам: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Но для чего, спрашивается, им нужны потрясения? Очень просто. Все эти «пролетарии», которым в конечном счете наплевать на Россию и на весь культурный мир, на самую идею европеизма, хотят хоть чем-нибудь возвеличится. Идейки у них убогие — ничего нет более убогого и скудоумного в истории мировой и общественной мысли, — так вот, давайте, товарищи, хлопнем дверью, — ничего, если крыша провалится, а заодно придушит жильцов, — и вот хлопают: эти «пролетарии» успели уничтожить несколько миллионов лучших русских людей, а теперь продают и раздаривают Россию направо и налево. А почему? Надо же и Хрущеву заработать себе бессмертие. Он больше ни о чем не думает. А ведь он самый мягкий из них, глуповат, но хватка — хватка мертвая! А такие пуще смерти боятся правды, — а вы вздумали правду говорить. Нельзя, нельзя, вы воистину безумец. Я — другое дело. Разрешите вам представиться. Профессия у меня неопределенная. То-есть был я всем, как истинно-русское перекаати-поле. Инженером, преподавателем, лектором общества научных и политических знаний, журналистом, ктитором, — и нигде не мог ужиться. Если поверите, — мне пятьдесят семь лет, а можно и не поверить — мне кажется, что прожил я целый век, так много всего было в моей жизни, а выгляжу я на сорок. Даже иные особы опасного женского пола одобряют. Видите вот эту сдобную сестренку? Она меня будет сопровождать в Ростов-на-Дону. Это мой родной город. Чудесный был город когда-то,

веселый, богатый. Меня уже туда сопровождают семнадцатый раз, — комната там у меня имеется — законная жилплощадь, — невелика, правда, восемь метров, однако для советского существования пригодна. Но я к оседлости, семейственности, партийности, вообще к любому виду постоянства мало пригоден. Можете себе представить, ни разу не женился, даже фиктивно, а предложений было много, и скажу вам — лестные предложения, даже одна врачиха влюбилась, хотела меня во что бы то ни стало одомашнить, как сибирского кота своего; обстановочка у нее была уютная, шифоньеры, трельяжи, канapé, но я ни к мягкой мебели, ни к мягким бабочкам, ни к сибирским котам тяготения не имею, извольте видеть; и еще меньше к домашнему хозяйству — никак не выношу этой категории материалистической диалектики, даже чемодана у меня нет, только, вот видите, этот выцветший, потрепанный, выдавший виды бурожелтый портфель. И можете себе представить, удивительная судьба у этого портфеля, почти такая же, как у меня, его владельца (чуть было не сказал — законного, но какой же там законный?): достался он мне прямо фантастически по какому-то не менее фантастическому наследству. Понимаете, был я в трактирчике на окраине, — такая уютная забегаловка, где, главным образом, выпивали отставные полковники. Хороший, скажу я вам, народ, — и выпить может, сколько душе угодно, и болтать может бесконечно, хоть до утра, — а что еще нужно российскому интеллигенту? Вот таким манером мы и судьбу свою проболтали за рюмкой водки, а ее и тягнули у нас под носом. Так можете себе представить, прихожу я как-то ночью, изрядно на взводе, — один отставной так меня угостил, что я и не помнил, как на свою жилплощадь попал, — ну, просыпаюсь в полдень, гляжу — портфель этот самый лежит на столе. И можете себе представить, в портфельчике этом — тогда он был именно портфельчиком, объем и вообще, так сказать, комплекция была примерно вдвое меньшей, — так вот, в портфельчике этом, который, как видите, стал портфелищем, я обнаружил поллитра особой московской, можете себе представить, нера-

скупоренной, и, как вы сами понимаете, не замедлил опохмелиться. Затем приступил к дальнейшему исследованию и обнаружил пухлую записную книжицу с интересными и поучительными сентенциями, вроде нижеследующих: «Пей — дело разумей. А не уразумею дело, снова пей смело. Еще успеешь, уразумеешь». Прельстительная мудрость сентенции этой, можете себе представить, на всю жизнь мне в память врезалась и стала как бы моей путеводной звездой в дальнейшей жизни. Это — в смысле житейского поведения. А в смысле философском, так сказать, пролегоменами стали для меня мудрейшие слова из этой же книжицы: «Время — что посуда. Можно ее наполнить коньяком финьяшампань, для услаждения души, а также мочей для анализа в поликлинике на предмет выяснения, страдаешь ли подагрой, раб Божий. Так вот тебе завет мой, раб ленивый и лукавый: наполняй не очень объемистую посудину, отпущенную тебе хозяином времени, не мочей, не отсиживанием за столом и просиживанием штанов в поликлинике, — не о теле брэнном пекись, а о бессмертной душе твоей, — а также памятуй, что у рабов Божьих душа обретает бессмертие, наполняя скудный сосуд времени блужданиями по прекрасной планете, поисками неопределенной планиды, — и Боже упаси — пускать где-нибудь глубоко корень, ибо вся прелесть жизни — в перемене мест. Новый город это — как новая мебель. Старый город — это как опостылевшая жена. То же относится к занятиям. Меняй занятия, как постельное белье, хотя бы раз в два месяца...» Ну вот, значит, стала эта записная книжица моим евангелием. Было в портфельчике еще вафельное полотенце сомнительной чистоты, но чистота — понятие относительное и весьма сомнительное, так же, как гигиена, здоровье и советская власть. И я, будучи инженером по водоснабжению и канализации, — простите, зовут меня Дормидонт Феропонтович Фиолетов, — что имя, что фамилия — замечательны! — бросил водопровод, канализацию и запер комнату; обстановка у меня была несложная, — железная койка со скрипом, стол шаткий со скрипом, стул венский со скрипом, алюминиевая кружка, оловянная ложка, еще два вафельных поло-

тенца, две смены белья и Библия, которую мне подарила соседка, восьмидесятилетняя старушка, накануне кончины; наследников у нее не было. С тех пор я стал каждый день читать Библию, самую, скажу я вам с уверенностью, опасную и соблазнительную книгу на свете. Не удивляюсь, что «товарищи» догадались и запретили ее распространение, а то ведь, знаете, начитаешься библейской мудрости и хохотать будешь, как оглашенный, над всеми мировыми революциями. И всё тебе нипочем станет, все эти священные реликвии, там, знаете, родина, жена, дети, долг, — всё суета сует и томление духа, можете себе представить, — брось всё и иди за Мной, и тогда души не потеряешь, а будешь сидеть дома — и душу потеряешь. Полюбил я особо Екклесиаста, а судить стал обо всем, как царь Соломон; и за Христом пошел бы охотно, если б Он только легкий путь указал. а то извольте радоваться — Голгофа. Не желаю-с, желаю наслаждаться жизнью, как сказал один философ... Взял я, значит, портфельчик, вложил белье, вафельные полотенца и Библию, — он, сами понимаете, вроде забеременел, — и отправился на вокзал. Вижу, идет поезд в город Раздольный — курортная, знаете ли, жемчужина, — давай, думаю, катну в Раздольный; взял, поехал. Приехал. Ну, надо чем-то заняться, а главное — прописаться; не прописывают там на постоянное жительство. А мне, говорю, зачем постоянное? Мне, говорю, и временное подходит. Если, говорят, будет требование местной организации, заинтересованной в вашей деятельности, можно прописать на шесть месяцев без права на площадь. Пошел я по улицам этого прекрасного города. Знаете, советским духом там и не пахнет, город праздничный. Пальмы, бананы, олеандры, магнолии. И предлагают мне, — тоже в забегаловке, один серьезный субъект, — поступить лектором в местное Общество политических знаний, — в общем, читать лекции о переустройстве курорта для блага граждан, о новой технике, космонавтах, Кара-Кумах и еще чего-то. А мне всё едино, — канализацией я решительно уже не мог заниматься. В общем, я трепался года два в этом чудном городе, — болтология повсюду в нашей стране заменяет жизнь и



труд, — потом сократили меня, вычеркнули мою штатную единицу; и я тогда случайно познакомился с одним москвичом, поехал к нему в гости, и черт меня дернул написать в ЦК партии письмо, — некий проект прекращения разводов, которые дискредитируют нашу социалистическую державу, поскольку неимоверное их количество переходит в весьма сомнительное качество советской семьи. Помилуйте, до революции в России было за год не больше пятисот разводов, а нынче — миллион. Это не шутка. Статистика явно не в нашу пользу. Я и выдвинул проект, значит: всем, кто развелся, уменьшить зарплату на десять процентов; кто два раза — на двадцать, и так дальше, без права занимать ответственные должности, ибо разводящийся, да еще многократно, явно не может воспитывать кадры в коммунистическом духе. Кроме того, — взыскания по партийной линии, а также издавать ежегодно сборник «Сомнительные супруги». Было это лет десять назад. Я, как говорится, для смеха написал это письмо. Мало ли idiotских проектов о так называемом коммунистическом воспитании серьезно обсуждают в тысячах комиссий, — как будто человека можно воспитывать в коммунистическом духе! Это всё равно что матерого волка сделать вегетарианцем, да я вам скажу, что можно скорее волка превратить в овцу, чем советского башибузука в Человека. Ведь не осталось у нас ничего святого, — можете себе представить, — не страна, а форменный бордель; и мне над всем этим посмеяться захотелось... Ну, вызвали меня в ЦК, какая-то упитанная баба со мной стала говорить, а я смотрю, извините, на ее декольте, груди выглядят дробельные, пахнет духами, и говорю ей: — Знаете, дамочка, мне бы с вами не в скучном кабинете, а в интимной обстановке поговорить, — и так выразительно смотрю на ее декольте. А она рассердилась, куда-то позвонила. Пришел мильтон, а она толстым задом вертит — уходит, а мильтон мне говорит: — Пожалуйста, гражданин, я вас провожу по назначению. — Позвольте, говорю, я не за назначением пришел. — Ничего, гражданин, не волнуйтесь. Вы в ЦК пришли, а не в пивную. Тут знают, где кому место. И отвезли меня на

Канатчикову дачу. И пошел я с тех пор колесить. Теперь я уже девятый раз там лечусь. Она стала для меня как бы домом родным, куда я возвращаюсь отдохнуть, о душе подумать. Все меня там знают, и я всех. Чудесная жизнь. Трепись хоть круглые сутки. Плохо только, что время от времени выписывают. Самые интересные люди там собираются. А где еще найдешь теперь интересного человека в России? На воле и поговорить не с кем — уши вянут, как послушаешь какого-нибудь советского мудреца... Вы, видимо, замешкались, а вам самое время... Есенин-сынок уже третий раз отдыхает, всё приглашают его. А я уж сам. У меня теперь и специальность есть, — я специалист по бессмертию Хрущева. Каждый год пишу ему послания, как скорее обрести ему бессмертие. Вы, конечно, об этом всерьез не говорите, а то и вам пришьют навязчивую идею и запишут в сумасшедшие. А я нарочно прикидываюсь, — говорю все, что думаю, — сумасшедший, инвалид первой группы — семьдесят два рубля получаю в месяц; не каждый у нас такие деньги зарабатывает, даже тяжелым трудом; деньги коплю, — ведь на воле я живу редко, а здесь всё бесплатно — коммунизм! Сиживал и в других больницах: у Соловьева, Ганушкина, на Матросской тишине, был и у Гронарева, но здесь, на Канатчиковой даче, больше интересных людей, можно и с женским полом побаловаться. Не боятся разоблачений бабочки. Кто поверит психу? И знаете, я только так разрешил для себя любовный вопрос. Иначе невозможно. Вы скажете, что я эгоист? Возможно. То-есть, безусловно. Помните замечательную книгу Джордана Мередита «Эгоист»? Его герой, так же как я, мучился из-за выбора и все-таки выбрал женщину — ведь он англичанин, ему необходим счастливый конец, а я — русский — для меня обязателен несчастный исход. Но рассуждение очень верное, понимаете, он правильно схватил самую суть проблемы. Вот как он сформулировал: его главным врагом был мир (масса), который смешивает нас всех в одну кучу, который запятнал уже заранее ту, которую мы выбрали, и мы никогда не сможем ее полностью очистить от соприкосновения с грязной толпой. Здó-

рово сказано! А я вообще распространяю эту теорию на всё: не только на поиски невесты, — без нее еще можно прожить, — я вместо невесты душу человека, свою душу ищу — идею, мечту, Прекрасную Даму, — и чувствую, что всё это «товарищи» запачкали, загадили зловонным дыханием темной массы, толпы, которая, как справедливо заметил еще Флобер, всегда плохо пахнет. Они хотят, чтобы от моей Прекрасной Дамы пахло трудовым потом, а меня тошнит при одной мысли об этом. Все идеалы загрязнены этой саранчонкой-массой, и ничего не выйдет, — Фиолетов вдруг рассвирепел, повысил голос чуть ли не до крика, надел на голову пилотку из заглавного листа «Крокодила», подмигнул Алмазову, — да, сударь, ничего не выйдет, пока мы не уничтожим массу, и прежде всего китайцев. Китайцы — это образ безличия. Они все на одно лицо. Самая страшная масса из всех масс. Они могут затоптать всю Европу и даже перелететь через океан. Сделать мост из живых тел — пять тысяч километров могут отлично вымостить двадцать пять миллионов человек, — а их семьсот. Мир для спасения Человека необходимо индивидуализировать, освободить от косной массы, бездушной — ведь у нее есть только желудок. Толпа тянет человечество назад в первобытное состояние, к стаду человекообразных обезьян. А когда останутся только личности, можно будет создать аристократическое всемирное общество личностей. Много не нужно — миллионов десять. Вот тогда будет жизнь по потребностям — человеческим, а не пайковым, как это планируют коммунисты. Не будет солдат, полицейских, чинуш — разве для Личности нужна тюрьма, суды, чиновная сволочь? — Фиолетов нагнулся к самому уху сидевшего рядом Алмазова, — а уж я постараюсь, чтобы они все стали бессмертными, понимаете, пусть наши женщины будут только любовницами, вакханками, а не няньками, матерями, тещами, — подходяще? — Он опять подмигнул Алмазову. Глаза у него были красные, сердитые. — Вот мое мнение... три кита — личность, бессмертие, безмассовость. Закурим?

— Я не курю, — сказал Алмазов.

— Значит, я зря старался?

— Нет... что вы, очень интересно.

— Может быть, напишете обо мне. Надеюсь, вы не социалистический реалист... Вот, действительно, опиум для дураков. Кончилась литература, искусство. Нечего читать, нечего писать... Я читал на днях, что какой-то институт провел опрос, и самые читабельные книги оказались «Преступление и наказание» и «Мадам Бовари». И вообразил, что эти авторы — Достоевский и Флобер — жили бы при советской власти. Пришел бы к редактору Флобер, а тот его сразу бы социалистическо-реалистическим обухом по голове: — Друг мой, это нетипично, нереалистично: замечательный врач, верный муж, труженик, любит жену, семью, а она имеет каких-то ловеласов. Зачем вы ищите уродливые явления в действительности, да еще не противопоставляете ничего положительного? Опишите героический труд доктора Бовари, а ее — ну, пусть разок согрешит и покается, даже закается, что больше не будет... Потом приходит Федор Михайлович. Ну, с тем дело хуже: — Что вы натворили? Молодой человек, да еще юрист, мыслящий юноша, станет убивать какую-то процентщицу? Да это клевета на нашу молодежь. И эта Соня. Не могла найти себе работу... Нет, нет... всё это никуда не годится. Да... — А теперь вынуждены хвалить: как же, мы тоже не лыком шиты, понимаем, что такое шедевр... «Товарищи» даже не понимают, что такое искусство, литература... Не понимают, что только нетипичные характеры в нетипичных обстоятельствах могут быть героями книг. Найдите мне хоть один типично-стандартный характер в мировых шедеврах. Может быть, Анна Каренина? Или Безухов? Или Иван Карамазов? Или Гамлет? Да перечислять можно до утра... Искусство начинается там, где нарушается норма, покой, типичность. Только идиоты могут говорить, что писатель должен описывать героический труд, счастливую жизнь. Уж не говорю о том, что нет ни героического труда, ни счастливой жизни, — допустим, что они есть, — что же тут описывать? Тут еще может какой-

нибудь работник месткома что-то сказать в отчете, но писателю абсолютно делать нечего... Ну да что говорить, пойду стрелять папиросу...

Настала ночь.

На узких деревянных скамьях кое-кто уже похрапывал. Другие расположились на полу, ели арбузы, тот же выплевывали семечки, швыряли корки в угол. Табачный дым сильно ел глаза. Санитары выкривали фамилии очередной группы уезжающих; те поспешно собирали свои пожитки и выходили во двор; там уже стояли машины. Сквозь открытые двери доносился шум дождя.

Валентину Алмазову показалось, что он вновь перенесся в девятнадцатый год, на узловую станцию. И это ощущение было так сильно, что он не мог от него отделаться в течение всей ночи. Под утро ему померещилось, что он спит, его душит кошмар, и он никак не может проснуться. Но не спал он ни одной минуты, а все время шагал по дощатому скользкому полу, стараясь не наступать на спящих, и только на рассвете сел на край лавки, где лежал какой-то старик; хотелось плакать, кричать, но разве тебя услышат в аду?

С той ночи Валентин Алмазов больше уже не выходил из ада, принимавшего разные обличья, и перестал верить в то, что можно отсюда вырваться. Но зато у него возникла новая вера — в то, что ад можно уничтожить. Уничтожить любимыми средствами. Разгоралась ненависть.

Всё проходит.

Все чувства слабеют, гаснут.

Ненависть — никогда.

\*

Когда все вокруг спят и лица изуродованы кошмарами или просто разгримированные сном обнаруживают свое отталкивающее безобразие, единственному бодрствующему жить становится трудно.

Это почти невероятная нагрузка — принять на себя третью стражу мира, и особенно страшно это в первую ночь в сумасшедшем доме, потому что кажется, что мир сошел с ума и тянет тебя за собой. Спасение только в одном — в больших, просторных, возвышенных мыслях. Они всегда, как мощные порталные краны, вытаскивают душу из трясины; и сейчас тоже уверенно вытаскивали душу Валентина Алмазова из черной топи, куда ее забросила судьба. Собственно говоря, в этом и заключалось ее главное назначение — всеми силами и средствами губить Человека, если он дерзнул оторваться от стада.

Мысли...

Но кто-то сказал, что начать думать значит начать презирать мир. А разве это легко — ненавидеть дом, в котором ты живешь? И вот первая утешительница мысль: ведь дом, в котором ты живешь, — не весь мир. И если судьба тебя забросила в это логово коммунистических злодеев, то ведь она может и спасти тебя. Ты ведь знаешь, что у тебя есть друзья во всем мире, они думают о тебе, шлют тебе добрые слова.

Творец Всевышний, прости мои грешные и дерзкие мысли. Ты должен простить, ибо мой разум — Твоя неотъемлемая частица. Просвети же меня, ибо я во тьме кромешной — в каком стиле Ты сотворил мир? Я прожил немало лет в искусстве, разбираюсь во всех его жанрах и вижу, что мир сотворен Тобою в стиле страшного гротеска. И, может быть, художники страшного правдивее всех изобразили его, и они-то и суть посланцы Твои — Достоевский, Гофман, Гоголь, По, Иероним Босх, Георг Гроссе, Сальвадор Дали?

Я прислушиваюсь ко всем голосам людей, одаренных разумом Твоим, все меня по-разному убеждали, я соглашался с одними, а потом с их противниками, и никто меня не смог ни в чем убедить. И сейчас в этом безысходном аду я уже ничего не понимаю, не могу отличить света от тьмы и святость Твою от козней сатанинских. И если все — злодеи, то зачем Тебе надо было иных, обреченных, как учителя мои, и меня грешного, наделить Твоим Разумом на вечную

муку? Зачем мы не такие же злодеи, как все? Но зачем задавать вопросы? Лучше биться головой об стенку, разбить ее о камни, чтобы душа улетела к Тебе, если Тебе не угодно ее призвать.

Но я слышу, — и это Твой голос, — что надо еще бороться с сатаной, овладевшим моей злосчастной родиной.

Утро.

Встаю.

## МУЧЕНИКИ НАЧИНАЮТ ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

— Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество неспособно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы — нет? Где логика?

— Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и всё. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

А. ЧЕХОВ

Утром главный московский психиатр допрашивал Валентина Алмазова. Именно допрашивал, как следователь преступника. В кабинет к нему Алмазова привел стражник, который во время допроса оставался за дверью. Янушкевич даже и не пытался делать вид, что он разговаривает как врач с больным, он даже не упомянул о болезни, видно, привык уже к тому, что он полицейский. Упитанный, розовощекий, самоуверенный, он снисходительно поглядывал на



Алмазова, который после ночного кошмара продолжал восхождение на Голгофу уже спокойнее, с высоко поднятой головой, неся свой крест обеими руками.

— Что же вы, голубчик, пишете антисоветские письма в посольство? — ехидно спросил Янушкевич.

— Вы кто? — презрительно посмотрел на него Алмазов. — Тоже полицейский? А я по наивности думал, что в социалистической стране хотя бы врачи не превратились в шпионов.

— Вот видите, как вы разговариваете.

— А я с полицейскими вообще не желаю разговаривать.

— Ну что тут толковать? Отправим вас к Кашенко — там разберут. — Он позвал стражника. — Отведите его.

— Допрашивать не умеете. Еще неопытные полицейские, — сказал Алмазов.

Опять шел дождь. К машине Алмазова проводила женщина-врач, которая дежурила, когда его привезли. Она плакала.

Алмазова как тяжелого преступника сопровождали три стражника: врач и два студента-медика. Последние проходили практику в качестве конвоиров — готовились к полицейской службе.

Тогда впервые Валентину Алмазову пришла в голову мысль, которую он затем проверил и подтвердил множеством фактов: что в советской стране окончательно восторжествовал не социализм, а самый оголтелый фашизм, почище гитлеровского; и он тихо, равнодушно ответил студенту, спросившему, удобно ли ему сидеть на носилках:

— В фашистском застенке спрашивать жертву об удобствах — по крайней мере бестактно. Это напоминает мне анекдот о палаче, который, отрубая голову осужденному, спрашивал его, как вежливый парикмахер: — Вас не беспокоит?

Студенты молча переглянулись. Их взгляды говорили достаточно красноречиво: «Чего с него возьмешь?» Но смолчали.

Потом Алмазов узнал, что у психических «больных» есть одна существенная привилегия — они могут говорить, что им вздумается, как угодно оскорблять медперсонал, — возражать им запрещено. Надо только говорить спокойно, иначе грозит болезненный укол.

Первое свидание с лечащим врачом, заведующей отделением Лидией Архиповной Кизяк состоялось через час после прибытия. Валентин Алмазов с первого взгляда почувствовал в ней тот уже примелькавшийся тип бесчеловечного полицейского, который широко известен под именем сто-процентного советского человека. Его прогноз оправдался.

Они смотрели друг на друга молча, с той настороженностью, с какой обычно сходятся непримиримые враги на смертельный поединок.

Лидии Архиповне Кизяк минуло сорок пять лет, — она была ровесницей Октября, вполне достойной. Карьеру она сделала всеми правдами и неправдами, цепко держалась за свое место, очень боялась его потерять. У нее была только одна страсть — властвовать над людьми, особенно стоящими выше ее. Вместе с тем, она была труслива, как нагадившая кошка.

— Ну, что ж, давайте займемся, — начала она деловито, — расскажите, как вы заболели, о вашей семье, родных.

— Дурака валять я вам не позволю, — строго, медленно скандируя каждое слово, произнес Алмазов. — Если вы не хотите скандала, то давайте условимся о наших взаимоотношениях...

Кизяк заёрзала на стуле, стала беспокойно озираться, — разговор происходил в комнате для свиданий, и сейчас там никого не было. Но тут вошел санитар, принес какую-то бумажку на подпись. Она с торопливой готовностью подписала бумажку и сказала:

— Володя, отнеси бумагу и приходи сюда.

Алмазов посмотрел на нее так уничтожительно, что даже зарумянились ее бледные щеки.

— Так вот, мадам, я вас врачом не считаю, человеком еще меньше. Ваше заведение вы можете называть боль-

ницей, но я его считаю тюрьмой, куда меня бросили, как это водится у фашистов, без суда и следствия. И если вы не хотите скандалов, то давайте условимся. Я — узник, а вы — мой тюремщик. Никаких разговоров о медицине, здоровье, родных не будет. Никаких лекарств, исследований. Ясно?

— Мы вынуждены будем прибегнуть к насильственному методу.

— Попробуйте.

— Хорошо. Посмотрим.

Ничем не напоминали Валентина Алмазова другие обитатели палаты № 7; и совсем другие пути привели их в это богоугодное заведение, — не потому ли они все полюбили друг друга?

— Да, разные мы, но и одинаковые не в меньшей степени, — сказал Павел Николаевич Загогулин, — в конце концов всех нас привела сюда советская власть. Это она исковеркала наши жизни, поэтому мы всё равно как ее жертвы.

— Да, пожалуй, — согласился Алмазов.

Ему нравился Загогулин, походивший на спортсмена, альпиниста. Ему можно было дать лет на десять меньше, чем он успел сколотить. А годы его были нелегкие. Геолог, вечно странствующий по горам и долам, в зной и стужу, по восемь-девять месяцев вне дома, без семьи, которую он любил.

Татьяна Львовна Загогулина была на пятнадцать лет моложе мужа. Вышла она за него семнадцатилетней. В ту пору она уже весила пять пудов и походила на солидную тридцатилетнюю даму. Всякое бывает. Человек тонких вкусов в искусстве и поэзии, Павел Николаевич любил грузные женские телеса.

Жили они поначалу хорошо. Оклад и командировочные позволяли Татьяне Львовне нагуливать жир (она была уверена, что только в крупных формах — прелесть женщины), шить туалеты. Но через каждые два года рождались дети. Татьяна их не хотела, но мать убеждала: — Надо закрепить, дура. Отец детей не бросит. Человек он надежный. А тебя

вполне свободно можно бросить, потому что ведешь ты себя, как последняя... Хорошо, что Павел всегда в отъезде, а то...

— А тебе что, жалко? Убудет с меня, что ли?

Так они переругивались беззлобно, в общем, жили. Ели очень много — шесть раз в день. И всё жирное: масло, гусей, пирожные. Толстели. Когда Павел Николаевич возвращался из очередной экспедиции, Татьяна Львовна была с ним нежна, не изменяла, даже получала удовольствие, — как будто новый любовник. Романы ее все были без тени романтики — начинались и кончались в постели.

Нелады начались два года назад. Павел Николаевич получил повышение — стал заведующим отделом в тресте. Уезжал редко. Хранить верность в течение почти целого года Татьяне Львовне стало нелегко. А тут как раз стал ходить к старшей дочери Любе, — ей только минуло семнадцать, — студент-путеец, который очень приглянулся мамаше. Через некоторое время Люба в слезах призналась матери, что она беременна.

Татьяна Львовна критически, не жалеющим, а насмешливым взором смерила Любу... Что он в ней нашел? Худа, некрасива... Должно быть, квартира приглянулась. Да, квартира в три комнаты — редкость в наше время... Губа не дура... Знает, что отец пятьсот рублей в месяц зарабатывает... Нахал... Но парень стоящий...

— Жениться предлагает, — тихо сказала Люба.

— А жить где будете? Есть у него комната?

— Нет... в общежитии.

— Родители есть?

— Беспризорный.

Разговор этот происходил на даче. Татьяна Львовна недавно ее отстроила. Она и сама теперь зарабатывала много, — шила на дому, без патента.

Жених пришел к ней вечером, поцеловал руку. Вечер выдался хороший, теплый, было начало августа, пошли гулять, — потолковать надо, — погуляли — устали, решили отдохнуть в лесу на травке. А через час Татьяна Львовна говорила: — Ты переезжай-ка сюда. Будешь спать на се-

новале... Мой-то такой усталый приходит, что засыпает как убитый...

Павел Николаевич категорически отказался дать согласие на брак дочери:

— Пусть сделает аборт. Мне этот ферт не нравится. Он её бросит, да еще комнату придется ему отдать.

Произошла первая крупная ссора. Татьяна Львовна рыдала, Люба — тоже.

Но Павел Николаевич заупрямился.

Однажды ночью ему не спалось почему-то, вышел на улицу погулять, а в это время Татьяна Львовна в одной рубашке спускалась с сеновала.

Что тут было! Павел Николаевич сам толком не помнил, он почти обезумел...

Простив жену, мягкий и уступчивый Загогулин не шел, однако, ни на какие уступки, когда речь заходила о свадьбе Любы. Студента он прогнал и запретил ему показываться на даче.

И вот тут у неутешной Татьяны Львовны созрел новый план — коварный, жестокий, бесчеловечный, вполне советский, даже модный и широко распространенный в наши дни.

\*

Я люблю цветы, не могу без них жить. Но какая страшная судьба: все цветы мои уже многие годы не растут в садах, а только в кладбищенских оградах и на могильных холмах.

Простите меня, если можете.

\*

И жизнь бесконечно огромна, непостижимо хороша. Но так бесконечно далеки острова и оазисы счастливых дней в песчаных пустынях выжженных лет и целых эпох, сожженных дотла, засыпанных самумами бедствий и ураганами злодеяний. Надо быть очень зорким, чтобы разглядеть эти оа-

зисы в тумане. Надо быть очень сильным, чтобы не опустились руки, не дрогнули ноги. И надо уметь драться до конца. Драться беспощадно с теми, для которых мир, человечность — растяжимые понятия, люди — подопытные кролики. Кому жалко кролика? И куда он убежит?

И надо понять раз навсегда, что человек и мир — исконные непримиримые враги. Мир — аморфная масса, толпа, стадо; чрево и зад Высокого Человечества; в нем происходят физиологические отправления: добывают и переваривают пищу, дерутся из-за нее, из-за жизненного пространства, из-за извечной драчливости. Она тоже одна из неистребимых функций низменной части населения земли, хотя поэты и лирики пытаются прикрыть эту отвратительную функцию вуалью храбрости, любви к так называемой родине; подумаешь, добродетель — любить свою берлогу, где властвуют разжиревшие свиньи! Истинная родина Человека — Небо, Бог, в котором живет его душа.

Надо произвести это разделение вплоть до полного отделения. Так повелел Господь: Он в мир принес не мир, но меч и разделение. И меня совершенно не трогает судьба низменной части; она сегодня уже не нужна; все эти функции будут лучше выполнять машины. Коммунизм — это стремление аморфной массы поглотить, растворить драгоценные кристаллы: алмазы, рубины, аметисты и выточенные ювелирами бриллианты.

Надо отстоять душу Человека...



Татьяна Львовна подружилась с заведующей районным психиатрическим диспансером, Анной Ивановной Передрагиной, молодившейся сорокалетней блондинкой. Сначала Анна Ивановна была просто заказчицей, нашедшей в лице Татьяны Львовны умелую портниху, которой удавалось так удачно декорировать перезрелые прелести Анны Ивановны, что она даже сумела соблазнить самого помощника министра здравоохранения, Христофора Арамовича Бабаджана.

Бабаджан и Передрягина отлично понимали друг друга, — у них были одинаковые вкусы и взгляды. Оба они шли успешно вверх по служебной лестнице. И если у Бабаджана был темный угол в его благолепной жизни — жена, то Анна Ивановна, веселая вдова, рада была его утешить.

Подруги, разумеется, делились своими интимными переживаниями, смакуя альковные подробности, и не стеснялись в выражениях. Узнав о затруднениях Татьяны Львовны, Передрягина дала ей добрый совет, как урезонить строптивого мужа...

— Дело очень простое. Напиши нам в диспансер заявление, что муж, который значительно старше тебя и уже страдает импотенцией, устраивает тебе бесконечные сцены ревности и даже грозит.

— Да, он однажды кричал: «Я тебя убью...»

— И без основания?

— Гм... Это как раз, когда он увидел, что я спускаюсь с сеновала...

— Прекрасно... Мы определим, что у него галлюцинации...

Всё это было сделано быстро, со свойственной Татьяне Львовне деловитостью. Через две недели, в семь часов утра, когда все еще в доме спали, раздался звонок в квартире Загогулина, вошли два дюжих санитара и предъявили предписание — доставить Павла Николаевича в психиатрическую больницу. Спросонья он сначала не мог понять, в чем дело. А Татьяна Львовна ласково уговаривала, даже по голове погладила:

— Надо поехать, Павлик. Ты так устал, заработался, изнервничался, а там — санаторная обстановка. Полечишься, отдохнешь, поправишься.

— Не поеду, — сказал окончательно проснувшись Павел Николаевич.

— Тогда силой повезем, — равнодушно заявил санитар.

— Попробуйте.

Началась драка. Проснулись дети. Кричали, плакали. У обоих верзил были окровавлены морды, но Павел Нико-

лаевич был уже связан. Его вынесли. Жена шла рядом. Он плевал на нее и кричал:

— Сука! Стерва! Это ты всё устроила... Дети! Ваша мать — проститутка. Выйду из больницы — я с ней сочтусь. Пошла вон, сука!

Его отвезли в пятое отделение.

Бросили на грязный матрац на полу.

Шестипудовая баба посмотрела на него совиными глазами, — и он сразу присмирел. Сорок человек гоготали, плясали, плевали, курили, ругались, дрались.

Когда его через неделю перевели в палату № 7, ему казалось, что он попал в рай.



## ОТОЙДИ ОТ МЕНЯ, САТАНА!

*Странное затмение наступает, когда тень правды падает на нашу блистательную, идеальную землю. Должно быть, не земля в этом повинна, а правда. Она приносит только зло; обман — единственное сокровище, которое нам удалось похитить.*

**ДЖОРДЖ МЕРЕДИТ**

Может быть, самое удивительное в палате № 7 было то, что все искренне любили друг друга и любили правду, не скрывали её, в то время как за оградой сумасшедшего дома все друг друга ненавидели и в лучшем случае не ставили ни во что, презирали, а пуще всего ненавидели и боялись правды.

Особенно лгали газеты, умалчивая о самом главном. А ведь умолчание — это самый иезуитский метод обмана. Газетам никто не верил, а только молве. Для ответственных коммунистов издавали секретные бюллетени, но и в них далеко не всё сообщали. Как это всегда бывает в тиранических государствах, роль играл очередной тиран, а все остальные, даже руководители, были пешками. В те дни исчез с горизонта один из видных персонажей — Фрол Козлов; одни говорили, что он застрелился, другие, что от волнения егохватила кондрашка. Все знали, что Хрущев расправляется с людьми, как с куклами; Сталин хотя бы устраивал суды, процессы, а этот просто вышвыривал их за борт, как ненужную ветошь.

Правда дружила только с настоящими людьми, с полицейскими она была на ножах. Немудрено, что узники пала-

ты № 7 ненавидели высшее начальство: от министра до вышибал.

Профессор истории Николай Васильевич Морёный, которому недавно минуло двадцать девять лет, занимался почти исключительно средневековыми монголами и, казалось бы, не тревожил советских фашистов. Факультет был доволен им как умным, интересным ученым лектором. Его работа высоко оценивалась учеными, не только отечественными, но и зарубежными.

Но...

Даже не знаю, с какого «но» начать.

Ибо в жизни каждого Человека с большой буквы, имевшего несчастье родиться в советской тюрьме народов, существует множество «но» — поводов попасть в немилость к властям предержавшим, и тогда начинается хождение по мукам до самой могилы.

Главное «но» Николая Васильевича Морёного заключалось в том, что хотя он и занимался монголами четырнадцатого века, он был молод, красив, высок, любил жизнь, правду, а главное — красоту, страстно мечтал о красивой жизни на свете и, прежде всего, — на русской земле.

Почему же он занимался средневековыми монголами?

Может быть, он чувствовал к ним особое расположение? Пожалуй, Он ненавидел их всеми силами души. Со школьной скамьи он был поклонником философа Владимира Соловьева и еще более настойчиво, чем его учитель, доказывал, что главная угроза европейской цивилизации, и прежде всего России, исходит от монголов, которые втайне лелеют доктрину панмонголизма, и настанет день, когда китайские коммунисты стоворятся с японскими империалистами и первым делом захватят Сибирь с ее несметными богатствами и огромным жизненным пространством, которого хватит и для тех и для других, а потом возьмутся за Европу. Он даже утверждал, что на новейших секретных картах китайского генерального штаба Восточная Сибирь уже окрашена в китайский желто-бурый цвет — монгольский цвет кожи.

— Именно для этой цели, — говорил он однажды соби-

равшимся у него постоянно на дому студентам, среди которых были также комсомольцы Володя Антонов и Толя Жуков, ныне обитавшие вместе с ним в палате № 7; они лежали рядом, — учитель и ученики, — и называли свой край историческим факультетом; даже фельдшер Стрункин покрикивал: — «Эй, исторический факультет, давайте на ужин!» А иконописная сестра Дина, тайно влюбленная в Толю Жукова: — «Святая троица, вы будете наконец спать?» Так вот Николай Васильевич говорил:

...— Именно для этой цели китайцы затрачивают огромные средства, чтобы создать свою атомную бомбу. Наши говорят, что, мол, китайские руководители такой безрассудной тратой огромных средств создают невыносимые условия для широких слоев народа, которому и без того тяжело живется, что, мол, атомных бомб хватит в Советском Союзе, чтобы защитить весь социалистический лагерь, а того не соображают, что китайские атомные бомбы предназначаются прежде всего для Советского Союза. Вообще этот так называемый нерушимый социалистический лагерь рассыпается на наших глазах, как многоэтажный карточный домик. Нельзя же, в самом деле, серьезно говорить о едином содружестве, когда появилось уже несколько разных социализмов, которые поливают помоями друг друга и по сути дела ведут между собой самую настоящую холодную войну. И этого марксистского социализма полностью придерживаются только наши глупцы. И не могут понять, что не из-за отвлеченных теоретических споров китайцы нас протирают с песочком почище, чем американцы, и мало-помалу организуют свой интернационал, направленный против нас. Если исключить из советского блока явных врагов — Китай, Албанию и Корею, которая примыкает к ним, — да и в других странах есть брожения, — то от пресловутой трети человечества в едином социалистическом лагере остается только одна десятая, — сегодня мы уже можем это констатировать. Наивно также думать, что в Польше и Венгрии действительно господствует социалистическая тишь и гладь; поляки и венгры — европейцы, стало быть, индивидуалисты, и они никогда не примирятся с ролью сателлитов

советской олигархии. Не совсем ладно в Чехословакии и Румынии. Да и у нас недовольство растёт с каждым годом. Хрущёва всё больше ненавидят, были и покушения на него — немудрено, — народ голодает... И для спасения России нам, всей русской интеллигенции, надо теперь бороться на два фронта: с одной стороны, покончить с советским фашизмом, с другой — бороться с монгольской опасностью; и для этого необходима поддержка Запада, особенно Америки.

В просторной квартире Николая Васильевича, где он жил вдвоем с больной старухой-матерью, — он был убежденный холостяк, — такие собрания устраивались часто. На них бывали только мужчины.

— Мы заняты серьезным делом, — как-то сказал по этому поводу Николай Васильевич, — и не исключено, что именно мы будем той искрой, из которой разгорится пламя. Мы оцениваем прошлое и настоящее, готовим будущее для народа. А женщины, даже самые лучшие, оценивают наши мужские дела только с точки зрения мужчин, с которыми они спят, — вместе с любовниками или сожителями меняют также идеи, если они у них есть, а это явление редкое. Им решительно нельзя доверять таких серьезных дел как подготовка будущего. Опасно.

И хотя ни одна женщина не участвовала в сборищах, и все как будто знали друг друга, однажды, почти в то же время, когда это случилось с Алмазовым и Загогулиным, «чумовозка» доставила в палату № 7 и Николая Васильевича Морёного.

Молодые друзья его и ученики были ошеломлены. И прежде всего перед всеми встал вопрос:

— Кто предал?

Шли недели, месяцы, но им ничего не удалось узнать. Они продолжали собираться. Дошло до того, что им тяжело стало смотреть в глаза друг другу, — каждый чувствовал себя в какой-то мере виноватым. В университете начали преследовать комсомольцев, которые открыто выражали свое возмущение. Особенно терзали Толю Жукова и Володю Антонова. Их допрашивали комсомольские и партийные секретари и че-

кисты, а часто те и другие вместе. Володе и Толе, как обычно, говорили, что всё им хорошо известно, и если от них добиваются показаний, то лишь для того, чтобы облегчить их участь. Они, мол, простые ребята, неопытные, и Морёный увлек их на ложный путь; пока, мол, они себя не дискредитировали никакими преступными действиями, иначе с ними говорили бы по-иному; но теперь им только хотят помочь, проверить их искренность, лояльность; их даже не исключают из комсомола. Однако жандармы не могли от них ничего добиться. Но не оставляли их в покое ни на один день.

Толя Жуков и Володя Антонов были настолько не схожи между собой во всех отношениях, что их можно было бы назвать антагонистами; совершенно по-разному сложились также их судьбы, и тем не менее они были закадычными друзьями.

Толя — высокий, светлорусый, с задумчивыми глазами, романтичный и даже немного женственный, — вырос в атмосфере усадебной, если не оранжерейной. Рано потеряв родителей, — отец был генералом, — он жил с двухлетнего возраста с бабушкой, тоже генеральской вдовой, в маленьком домике неподалеку от Троице-Сергиевой Лавры. Домик утопал в зелени. Восьмидесятилетняя Варвара Петровна Жукова обожала цветы, церковное пение, какого-то очень доброго, общедоступного Бога, и все эти привязанности передала Толе. Она получала приличную пенсию, а также Толину, — генерал Жуков, отец Толи, был убит на войне, — и жили они в достатке. Не было и особых прихотей у Толи. Он был равнодушен к пьяным гулянкам студентов, к вину, к легкомысленным связям. Много читал, неплохо играл на рояле, изучил французский язык, прилежно учился, — на исторический факультет пошел по призванию и главным образом занимался философией истории и философией вообще. Он думал, что главная задача серьезного, независимого историка, — не партийного лакея, а свободного мыслителя, — решать основной вопрос: есть ли в истории какой-нибудь смысл или идея? Является ли история человечества закономерным процессом или собранием скверных анекдотов? Большинство студентов этой про-

блемой совсем не интересовалось. История была для них просто их будущим ремеслом. У них были другие проблемы: деньги, девочки, гулянки. Они даже не понимали, как это молодого парня могут волновать такие отвлеченные понятия, — не всё ли равно, есть законы истории или нет, — что от этого изменится? Не удивительно, что, встретившись с Володей Антоновым, которого мучили те же проблемы, Толя очень к нему привязался, и нисколько не романтичный Володя даже посмеивался над его сентиментальностью, хотя тоже полюбил Толю. Но если Толя вырос в тепличной обстановке, то Володя вырос в котле, в самом настоящем котле на окраине города Раздольного. Родителей он не помнил и даже не знал, кем был его отец. Казачка Марфа, торговка, гулящая, воровка и содержательница притона — так последовательно менялись ее профессии по мере того, как шли года и постепенно терялась красота, привлекательность, ловкость, удачливость, здоровье, — так вот она говорила, что мать Володи тоже была гулящая баба; с кем она прижила Володю, сказать она не может, знает только, что проклинала судьбу, когда мальчишка появился на свет Божий, сплывила его в станицу к какой-то дальней родственнице, но Володька оттуда сбежал и жил в котле на окраине с другими беспризорниками. Оттуда Марфа его и взяла, уже во время своего воровского житья, — больно красивый мальчонка был, ловкий, сильный и маленький — в самый раз домушничать, в любую форточку пролезет, — и работал отменно.

Попадался Володька. Побывал в колониях, лагерях, но после всех скитаний вернулся в родные места. Здесь Володя подружился с одним калекой, Кузьмой, — ему ногу отрезало, когда неудачно соскочил с поезда на ходу: его настигала погоня шпиков из уголовного розыска. Калека занимался скупкой краденого. Жил бобылем, совсем неладно, в доме — беспорядок, грязь, а человек ласковый, добрый, задумчивый, любил серьезные книги и больше всего Библию. Из писателей больше всех любил Лескова, которого буквально заучивал наизусть, знал также на зубок житие протоппа Аввакума, «Подражание Христу» Фомы Кемпийского, а также творения

Августина Блаженного, Клавдиана, «Тайную историю» Проккопия. Стал давать эти книги Володе, и тот быстро пристрастился к чтению.

Володька задумал сосватать Марфу своему другу Кузьме. Все они говорили друг другу «ты», как равные. Володя даже не помнил их отчества, а, может быть, и не слышал никогда, — в этой среде не принято называть по имени и отчеству, — у всех были клички. Кузьму звали Пан, Марфу — Лейка, а Володьку — Пиль.

И вот пришел он к Марфе:

— Послушай, Лейка. Неладно мы живем. Как ни говори, тебе настоящего хахала надо, ты уже не молоденькая. Я еще маленький, мужичьего места занять не могу, а ты еще ядреная, — так я Пана хочу тебе сосватать, ему тоже маруха нужна, а то живет — смотреть тошно, даже приварок некому готовить — мужик, сама знаешь, серьезный. Мы и насчет коммерции столковались. Товар, значит, мы ему сдаем, профита ему половина, потому магазин у него, а мы — налегке, чтоб ни шу-шу, еще сказал, что на меня будет специально откладывать, потому — я молодой, может, в другие края потянет, так должен я иметь свой капитал.

Так и зажили они, мирно, ладно. Потом стали заниматься только продажей краденого. Марфа хозяйничала, а Володька пошел учиться. И до того увлекся разными науками, что про всё остальное на свете забыл, кончил школу с золотой медалью и поступил на исторический факультет уже с некой законченной философией, в основу которой легло учение Ницше.

Володя Антонов даже написал философский трактат, озаглавленный «Эврика!»

«На земле существует только Человек, — писал он во введении, — всё остальное — миф, досужий вымысел, глупая абстракция, ерундистика в кубе. Человек способен на всё — ибо Человек это — сверхчеловек (Человек как имя собственное, а не нарицательное) — то-есть бог. Их немного — Человеков (не смешивать с людьми). Но с тех пор как они появились на свет, человекообразные людишки — имя им легион — начали охо-

ту за ними и пойманных приковали к утесам, — отсюда миф о Прометее. Земля создана для Человека, а не для обезьян.

Но обезьяны думают иначе, — вернее, думать они не умеют, а мысли эти внушили им укротители и дрессировщики, более известные под именами вождей, пророков, священников. Укротители, поставившие себе задачу выдрессировать весь мир по своему фальшивому эталону, всегда дерутся из-за пальмы первенства, уничтожают друг друга и свои стада и паствы, но не унимаются и, как видно, не собираются прекратить эту всемирную волюнку, даже наоборот — настолько активизировались, что решили в крайнем случае реализовать лозунг древних римлян — «*pereat mundus, fiat iustitia*» — что в свободном переводе означает — «пусть погибает мир, если я не буду владеть им!» В этом, собственно, и заключается вся история человечества, которую стараются замаскировать каждый на свой лад целые банды партийных историков и литераторов, особенно экстремистских тоталитарных партий.

История могла бы стать наукой, если бы она отдалилась от государства и правящих партий, как церковь. Это еще понял автор «Тайной истории» Прокопий, который писал одну официальную для римского императора Юстиниана, а другую для себя и для мира. Но честного и правдивого историка так же трудно найти в мире, как черный алмаз.

Чувствую, что сейчас в мире возникла новая задача: сначала сделать человеческую историю, то-есть покончить с заговором обезьян, а потом уж писать подлинную историю человечества.

Не исключено, что эта задача возложена и на меня. Ибо я один из немногих свободных Человеков. Свобода мысли — вот чего не хватает для победы!

Прежде всего — переоцените все ценности!

Так завещал величайший учитель мира — Фридрих Ницше.

Ницше — единственный настоящий философ — творец Идеи!



Достоевский — единственный поэт — творец художественного мира.

Помните, — ничего нельзя исправить в этом мире.

Всё должно пойти на свалку — все тюрьмы народов — государства, все истории, целые расы, а вместе с ними все мягкотелые гуманисты. Они так же излишни, как несъедобные моллюски.

Чтобы создать на земле гармонию, надо ее сначала хорошо очистить, как всегда очищают строительную площадку перед тем, как приступать к работе...»

— Ну, пожалуй, хватит, — сказал Володя Антонов, взъерошив по давно закрепившейся привычке свою густую шевелюру.

— Отойди от меня, Сатана! — в ужасе отмахнулся Толя Жуков.

— Изложите свои возражения, Толя, — сказал Николай Васильевич.

Толя был сильно взволнован, щеки его горели, голос дрожал.

— С основным тезисом Володи, что Человек — это всё, я абсолютно согласен. Но... им руководит не Бог, а Сатана, если он договорился до того, чтобы уничтожить целые народы. Господь сказал: «Не убий!» И даже если стать на чисто светскую точку зрения, то разве можно строить новый мир отвергнув гуманизм, — тогда ведь, если уж быть последовательным до конца, придется оправдать и фашизм.

— Не передергивай, Толя, — вскипел Володя, вскочил и зашагал по просторному кабинету Николая Васильевича. — Фашизм — это как раз обратное — человекообразные уничтожают Человека, — вот это именно и недопустимо с точки зрения подлинного гуманизма, который против человекообразия во имя Человека. За примерами ходить недалеко. Человекообразная сволочь в нашей стране уничтожила почти всех лучших людей, элиту нашего общества. Это, по-твоему, гуманизм? А почему это им удалось? Потому что мы их своевременно не уничтожили. И я тебя уверяю, — если мы не уничтожим эту банду, она уничтожит и нас.

— Нет, нет... отойди от меня, Сатана! — отмахивался Толя. — Нельзя насильно завоевать свободу. Насилие порождает насилие. Я надеюсь, что наука и техника, которые уже сегодня творят чудеса, создадут условия, при которых человечество сможет решить все экономические проблемы. Если у всех будет достаточно хлеба и, пожалуй, сахара — тебе, пусть даже с твоей необычайной индивидуальностью, дадут жить, как тебе захочется. При настоящем коммунизме не будет тех безобразий, которые сегодня сводят на нет все достижения. Я согласен, что у нас нет никакого социализма, — конечно, у нас царит фашизм, — но когда будут разрешены экономические проблемы, никто тебе не помешает проповедовать нищезанство или что-нибудь другое.

— В этом-то и ваше главное заблуждение, Толя, — сказал Николай Васильевич. — Несомненно прав Володя. А почему? Да потому, что когда будут разрешены экономические проблемы, никто тебя не помилует, если ты Человек, — настанет царство торжествующих жирных свиней. А жирная свинья тоже имеет свой нрав. Ей, как известно, нравится хрюкать и разводить всякое свинство. И всякому, который вздумает петь, а не хрюкать, она быстро зажмет глотку. В свиной монастырь, вы, Толя, со своим соловьиным уставом не сунетесь, — свинье ничего не стоит сожрать соловушку вместе с перьями. Бесчеловечность, беспредельная жестокость являются характерными чертами всех коллективистических формаций, всё равно — правит ли партия, тиран или король. В Вавилоне, в гитлеровской Германии и у нас творились все злодеяния безнаказанно, с одним и тем же оправданием — для высшего блага народного. А пресловутые народы в природе не существуют, — Человеки плюс стадо вовсе не составляют народа, ибо это величины несоизмеримые, как воздух и свиное сало; это две противоборствующие стихии, непримиримые, как огонь и вода; исход может быть только такой: или Человек победит стадо, или стадо сотрет Человека с лица земли. Третьего не дано. Ни язык, ни географическое пространство, ни обычаи не могут объединить меня со Сталиным или Хрущевым. Мы оба говорим по-русски, но друг друга не по-

нимаем и никогда не поймем, и хотя живем в одном городе, но далеки друг от друга, как Земля от туманности Андромеды. В то же время мне близки и понятны Сартр и Роб-Грийе, хотя я никогда не был во Франции и неважно говорю по-французски.

И так постоянно спорили Толя и Володя — они знали, что любят одно и то же, ненавидят тех же врагов, но пути были разные, — так им казалось, — но в действительности они уже шли по одной крутой тропе. Толя Жуков ненавидел всякое насилие и жестокость, а Володя вырос в море насилия и жестокости. Он, вероятно, никогда не забудет новогоднюю ночь в товарном вагоне на крупной узловой станции Тихорецкой. Их было четверо. Играли в очко. Володя Антонов проиграл все деньги и всю одежду, что была на нем, — он остался в одних трусах. Мороз был небольшой, градусов семь, но из кубанской степи дул пронзительный норд-ост. Володя, очень худой, щедедушный, весь посинел, на щеках его замерзли злые слезы, он жевал стебелек засохшей горькой полыни, в животе нарастала колющая боль, и тогда Петька, по прозвищу Ворон, — черный весь, как цыган, — сплюнул сквозь зубы и сказал:

— Ну, пока, Пиль... Голый, ты как пойдешь? А мы побегим к кирпичному заводу — там тепло. Но тебе не дойти.

Ушли. Это был закон жизни на этой земле. И Володя не обиделся на них. Он поступил бы так же. Он теперь хорошо знал, что такое жестокость и бесчеловечность. И знал, что их можно уничтожить только насилием. Два года он провел в колонии для малолетних преступников, где не было легендарного дяди Макаренко, а каты и бандиты, — они засекали ребят насмерть. Заставляли их шпионить и наушничать, морили голодом. И так складывались главы его личной педагогической поэмы, что он даже усомнился, было ли вообще всё то, что описал Макаренко, — ведь он замечательный писатель, ему и сочинить недолго всё это. За годы скитаний Володе Антонову пришлось побывать во многих лагерях, встретить сотни ребят, — большинство так же, как Володя, не раз бежали из колоний. Почему бежали? От кого убегали? От бесчело-

вечности, жестокости. От Макаренко не убежишь. Но где он? Говорят, есть страна Эльдorado... или Муравия... но никто её не видел, кроме сочинителей.

И вот он вырос.

В университете он нашел наконец настоящих людей. Мечтал. Думал. Колебался. Верил в будущее. Решил отдать этому будущему все силы; отказался от житейских благ, любви, всего смягчающего; готовился к борьбе.

В это время Николай Васильевич Морёный был для него всем. Отцом, учителем, другом. А Толя Жуков — братом младшим, легко ранимым, нуждающимся в защите.

Вот так они жили.

Но Сатана от них не отходил ни на шаг.

## Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ, НО МЕНЯ ЛЮБИТ СМЕРТЬ

*Должно быть, так суждено! Жалеть меня нечего! Что они ненавидят правду — худо. Что не понимают ее прелести — досадно. Что им так дороги чад, мишура и всякое бесчинство — отвратительно.*

*Нет, не стану примиряться! Они меня не терпят — отлично, я их тоже не выношу.*

ТОМАС МАНН

Мұла манит вперед звон бубенчиков, — кто-то в мире сказал это, — какая удивительная правда! И я, ищущий правду в пустыне, преследуемый дикими зверьми, не устаю, не теряю сил и надежд, потому что меня, как ангельски терпеливого мұла, манит неустанно вперед звон бубенчиков — это Правда шагает по земле. Вот-вот догоню ее, увижу... И вдруг затихает звон бубенчиков, уже еле слышен, но слышен — слышу его всеми фибрами души и только одного опасаюсь — рассказал ли я о восхождении на Голгофу так, чтобы люди воочию увидели Человека, несущего свой крест.

Но я знаю, что люди мне поверят и увидят двух страстотерпцев, Толю Жукова и Володю Антонова, сидящих на Воробьевых горах, — почему-то захотелось назвать их этим старым именем, вспомнил дорогих сердцу моему Герцена и Огарева, — вокруг пестро раскрашенный день листопада, и солнце изо всех сил старается разогреть их остывающие

сердца, — учитель сидит в сумасшедшем доме, палачи на него надели смирительную рубашку.

— Не могу больше, — сказал Толя Жуков, — загнали меня совсем эти собаки. Комсомол называется! Да это же самый настоящий полицейский застенок!

— Наконец-то дошло до тебя, — огрызнулся Володя Антонов. Злыми, покрасневшими от бессонницы глазами смотрел он на буйный пир листопада.

— Как же тогда жить? — встрепенулся Толя и сжал кулаки, словно хотел броситься на невидимого врага.

— Как? Если бы я знал! Однако я уверен, что жить надо, — не сдаваться же на милость рабовладельцам коммунистической империи. Николай Васильевич всегда это говорил.

— Но если так будет бесконечно! Так! Становится все хуже и хуже. Помнишь, Николай Васильевич сказал, что на июньском идеологическом пленуме партия объявила войну всей мыслящей интеллигенции, не казенной, конечно, а тем, которые не заложили свою душу в коммунистическом ломбарде. Какая у нас, молодежи, перспектива? Да никакой. Вот мы окончим университет, — о подлинной научной работе не может быть и речи, — мы же никогда не согласимся фальсифицировать историю. Значит, остается одно — поступить преподавателем в школу и преподавать заведомую казенную чушь ребятам, которые, к счастью, тебя слушать не будут, на перемене прочтут заданный урок, чтобы получить приличную отметку, а на другой день забудут то, что учили.

— Но ты забыл — мы молодые, обязаны дожить до коммунизма, — саркастически усмехнулся Антонов.

— Вот именно — обязаны. А что такое коммунизм? Это апофеоз нищеты, гибель личности, однокомнатная квартира с низкими потолками, полуванной-полуклозетом — одним словом, малогабаритное существование с манной кашей, кроватью-диваном-шкафом-столом-этажеркой в одном агрегате, — я уже видел такое чудо коммунистического

быта в мебельном магазине. Даже не выпьешь с горя. Не положено по этикету.

— Эх, мне бы сейчас марафет понюхать. Ты нюхал когда-нибудь?

— Это что — кокаин?

— Да, сильная штука, всякое дерьмо окрашивает в розовый цвет.

— Нет, Володя, это не выход.

— Ну ладно. Так и будем жить?

— А что делать?

— Вечно это «что делать»? Не спрашивать — а делать! — крикнул Володя.

— Зачем кричишь? — удивился Толя. — И на кого?

— Ладно, я пошел, — сказал Володя, вскочил и размашистым шагом, не простившись, ушел.

Толя еще долго лежал на траве. Смотрел в небо, где догорал закат. Как прекрасен мир! И как загадили его. Почему так получается, что все прекрасные идеи в процессе осуществления искажаются до неузнаваемости, — и в результате вместо социализма получается отвратительная тирания?

Страшная мысль пришла ему в голову:

— Да существует ли в мире прогресс? Ведь с точки зрения морали, гуманизма, первобытное общество без государства, судов, тюрем, полицейских стояло намного выше нынешнего. Это признает даже Энгельс. К чему же привели поиски лучшего образа жизни за столько тысячелетий? Почему люди могли жить согласно, красиво, без миллионов полицейских? И этим чудесным хором дирижировал один старик, у которого не было ни оружия, ни охраны — и все его слушали беспрекословно, уважали, почитали. А ныне вождь охраняет целая армия полицейских от народной любви. В чем же дело? Должно быть, человечество выродилось. И самые худшие выродки из толпы пролезают в вожди. Власть — вот страшный яд. Жажда власти, разгула, разбоя, характерная для голытьбы... А справедливость — это то, что им нравится. Сталин — классический тип такого хамского

тирана. И то, что партия пошла за ним, молча приняла его злодеяния и помогала ему, показывает, что партия не лучше его. Ханжеские рацеи Хрущева никого не введут в заблуждение.

Что же дальше?

Ночь.

Хороводы звезд кружатся по черному небу, неслышно аккомпанирует оркестр, и Толя старается уловить гармонию, но не может.

Дома его встречает бабушка — она тоже вся серебрястая, словно в ее волосах запутались звезды, и в глазах — тоже. Безмолвно и пугливо глядит она на Толю, хочет что-то сказать и не может, только часто осеняет его крестными знаменьями.

\*

Толя долго и мучительно старался потом вспомнить дальнейший ход событий этой ночи, так изменивший его судьбу. Что же это было — поворот судьбы, акт сознательной воли или временное умопомрачение, случайность.

Войдя в свою комнату, Толя долго читал повесть из «Тысячи и одной ночи». Среди удивительных книг, созданных добрым гением человечества, сказки Шахразады казались ему едва ли не самыми чарующими. Но была ли когда-нибудь такая жизнь на земле? Может быть, это просто изящная выдумка арабских всадников, — ведь у них лучшие кони в мире, — и кто знает, куда эти волшебные кони, неутомимые и быстрые, как птицы, уносили их фантазию, всегда раскаленную знойным дыханием южных пустынь, самумами и сирокко; да ведь и воображение их рождалось веками среди миражей африканских горизонтов, их огненные взоры видели дальше и глубже, чем наши светлые глаза среди затуманенных далей и лилового марева тающих северных горизонтов.

Самым замечательным казалось Толе, что люди настолько верили в силу поэтического слова, что пытались им заговорить судьбу, как известно — неумолимую. Много бы-



до таинственного и непостижимого в этих дивных сказаниях, но Толя понимал все, хотя многое и не смог бы выразить словами. Часто, читая эти книги, он внимал боевым призывам, — все повести были посвящены сильным, могучим людям, не знавшим страха, считавшим любое дело легким.

Стоит твердыня — гора Синай, пылает  
битва на горе,  
А ты, Моисей, допрашиваешь время.  
Так брось же посох свой, — он топчет  
все творенья  
— иль боишься, что веревка коброй может  
стать?  
В бою читай писанья вражьи, как стих корана,  
И пусть твой меч стихи на вражьих шеях  
вырезает.

Толя Жуков изучил арабский язык и читал сказания в подлиннике, — русский перевод был настолько беспомощным, что разрушал все очарование этой неповторимой книги, да и французский оставлял желать много лучшего. Он перевел ряд фрагментов, и все цитаты здесь даны в его переводе.

Да... разве он сам, Толя Жуков, не стоял сейчас на горе, подобно Моисею, и не допрашивал время? Оно было чертовски виновато, совершило тысячи тягчайших злодеяний, ему больше нечего сказать, и оно молчит. Никакими уловками бывшего следователя не добьешься от него показаний. Но, может быть, все эти злодеяния — только веревка, которой трус может удавиться, а мудрец пройдет мимо, не обратив внимания, — пусть валяются у дороги, — ведь это веревки, а не ядовитые кобры. И если ты сумел по достоинству оценить вражьи действия, — они записаны в их летописях, — ты сумеешь дать им достойный ответ; не отписывайся, не грать попусту слов, а ответ напиши мечом на их шеях.

Чудесная программа!

Может быть, думал Толя Жуков, вся наша беда в том и состоит, что мы переоценили вражью силу, а свою недооцениваем?

... но то, что свершиться должно, не верши  
ухищреньем,  
а силой! И настанет, чему быть суждено;  
чему быть суждено, совершится  
в назначенный час.

И только глупец унывает всегда в ожиданье.

Да — свершится — это я знаю, думал Толя. Но где взять силы для борьбы и терпение — влачить рабское существование? У меня нет сил — вокруг мало людей, готовых ринуться в бой, хотя ненависть растет и ряды возмущенных ширятся. Полководец в сумасшедшем доме, в плену у врага. Вокруг меня и Володи мало-помалу образуется знакомая пустота, — еще не прошел сталинский страх, сковавший народ на десятилетия, а новое поколение еще не выросло. Я одинок, — в моем подсумке нет патронов. Главное, нет никакого запаса оптимизма. А у кого из недюжинных людей он был? Все большие поэты были пессимистами. Леопарди, Байрон, Лермонтов, Гейне, Блок, Пастернак. Пушкина можно выразить в одной потрясающей строке —

Безумных лет угасшее веселье...

А Лермонтов —

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем  
вокруг —

Такая пустая и глупая шутка.

Конечно, все они любили жизнь. И я, и Володя, и Николай Васильевич любим ее безумно...

Устами Каина Байрон кричит на весь мир, и кажется мне, что это мы кричим.

И это я, который ненавидел так страстно смерть,  
Что даже мысль о смерти  
Всю жизнь мне отравила, — это я  
Смерть в мир призвал, чтоб собственного брата  
Толкнуть в ее холодные объятия!

А Шекспир?

Разве не он уже триста лет вопрошает:

Быть или не быть?

Так, может быть, во много раз лучше — не быть? Николай Васильевич и Володя изнемогают в страшной борьбе, — и мне тоже, как обреченному Каину, надо будет убивать своих братьев? Разве они виноваты в том, что они заблуждаются, или глупы, или недостаточно прозорливы? Наступит ли когда-нибудь такое время, когда все люди станут Человеками? Значит, истреблять всех, пока перестанут рождаться бараны? Нет, на это я не способен, не могу так... Ведь Каин, честно полагавший, что на земле не место мелкотравчатым и недалеким авелям, в конечном счете не стал счастливее, а влачил мучительное существование, снедаемый угрызениями совести. Что же — быть нам вечными каинами?

Значит — выхода нет?

Толя глядел в окно на черную бездну неба, на такие далекие безучастные звезды, — их холодный свет, льющийся тихими струями, уже не может омыть его запыленные мысли, — они как будто говорят: вы так далеки от нас, что мы вас и различить не можем. Как же вам помочь?

Опять Ноев ковчег? Ты помнишь жалобы Иафета?

... Ужели

лишь нас с отцом, да тварей, им избранных,  
спасет Творец?

Братья — люди! Я увижу

великую могилу! Кто ж со мною  
разделит скорбь? Увы, никто. И лучше ль  
мой рок, чем ваш?

Да и не будет ли истребление миллионов людей еще  
более страшным злодеянием, чем убийство брата?

Толя чувствовал, что сомнения, колебания, муки обви-  
ваются вокруг него и душат, жалят — нет, не как простая  
веревка, а как ядовитая кобра.

Шла ночь.

За один день можно перевернуть мир.

За одну ночь можно его уничтожить.

Чтобы перевернуть мир, необходимо одновременное  
действие больших масс.

Чтобы уничтожить мир, достаточно одного человека,  
который нажмет кнопку на катапульте или гашетку писто-  
лета; исчезнет ли весь мир или исчезнет один Человек —  
разницы нет. Если меня нет, то кто докажет, что существу-  
ет мир?

Шла ночь крадунчимся шагом, словно вор, который без-  
наказанно похищал у людей их тепло, свет, радости, и То-  
ля Жуков даже не подозревал, что эта ночь задумала по-  
хитить и его жизнь. Он никак не мог вспомнить, как открыл  
тумбочку у постели, как вынул оттуда бритву, как написал  
на клочке бумаги размашистым почерком «Я люблю жизнь,  
но меня любит смерть», как перерезал себе горло.

Было уже очень поздно, потому что вскоре бабушка  
встала и перед тем, как отправиться в церковь, зашла в  
комнату Толи. Он лежал на тахте одетый, весь залитый  
кровью.

Сонную артерию он даже не задел, только горло глубо-  
ко разрезал; с трудом говорил — хрипел. Потом — перели-  
вание крови, и четыре дня спустя его отвезли в больницу,  
только не хирургическую, а на Канатчикову дачу, — ведь  
ему не нравится советский рай.

В палате № 7 он впервые обнял и расцеловал Николая Васильевича, который вообще не любил сентиментальностей, — но встреча друзей в аду, — сами понимаете...



Володя Антонов тогда впервые в жизни испугался.

Помнил он себя хорошо с четырехлетнего возраста и может поклясться, что никогда ничего не боялся, — ни жизни, ни смерти. А вот сейчас испугался. У него было такое ощущение, что безжалостный палач снова хочет отнять у него всё, как тогда в товарном вагоне Петька Ворон, и пустить его голым на мороз навсегда, — страшный холод начал вливаться в его сердце, замораживать кровь в жилах.

Что ж это такое?

Сначала Николай Васильевич. Потом Толя. А сегодня Коля Силин ночью принял пятьдесят таблеток барбамила — еле откачали. Коля Силин был уже на последнем курсе, много работал, и Николай Васильевич Морёный предсказывал ему большое будущее, если ему удастся уехать за границу. Коля Силин занимался историей этрусков и был влюблен в этот великий народ, о котором так мало известно современникам, — разве только, что они имели большую культуру и несравненное искусство; но даже вульгарные нувориши говорили с почтением об этрусских вазах. Коля Силин считал, что этрусская культура — фундамент римской цивилизации.

Жизнь Коли Силина сложилась своеобразно. Четырехлетним он уехал в Рим с отцом, который был назначен в советское посольство. Отец был не дипломатом, а крупным работником госбезопасности. В Риме они прожили десять лет. Коля вместе с отцом исколесил всю Италию и полюбил ее навсегда большой сыновьей любовью, даже дневник свой вел на итальянском языке. Девять лет, прожитые после этого в Москве, не только не сблизили его с родиной, но еще больше отдалили от нее. В университете он стал замкнутым,

всегда мрачным, сторонился товарищей, ни с кем не дружил; в прошлом году его исключили из комсомола, так как он наотрез отказался поехать на целину убирать урожай. Он очень резко выступил на собрании, сказал между прочим:

«Я пришел к убеждению, что марксизм вообще и советский строй в частности — это явление регресса, шаг назад в развитии человечества. Я не стану говорить о весьма сомнительных экономических достижениях, — космическими полетами не затмить того страшного факта, что сегодня, чуть ли не через полвека, в большинстве городов и посёлков страны даже трудно достать хлеб, черный хлеб, — но деградация культуры, полное вырождение искусства, — они сейчас у нас на более низком уровне, чем три тысячелетия назад у этрусков, я уже не говорю об эллинах, — отвратительный сервильизм советской интеллигенции отбросил Россию назад, в допетровскую эпоху. После июньского пленума у нас уже невозможна борьба идей, без которой немислим прогресс. Официальная философия марксизма — это по сути дела самый низкопробный прагматизм, догматическая схоластика. Да что говорить...»

Его исключили из университета. Впрочем, еще до исключения он сам перестал ходить в университет. Незадолго до этого он начал сближаться с кружком профессора Морёного, но сблизиться не успел, так как Морёный вскоре попал в палату № 7. Потом он стал работать в качестве телефониста, ушел из дому, — он снял за двадцать рублей в месяц комнатуху в подмосковной деревушке, в простой избе. Дома даже не показывался. Никаких объяснений ни отцу, ни матери не дал и даже разговаривать с отцом наотрез отказался.

И вот — печальный исход.

Барбамил — институт Склифасовского — палата № 7.

Володя Антонов, не обладавший ни выдержкой Коли, ни добродушием Толи Жукова, напился до потери сознания, избил милиционера и бросился в Москва-реку. Когда его

вытащили, он дрался, царапал лица и руки спасителей, пьяным голосом кричал:

— Сволочи! Фашисты! Я люблю жизнь!

И в течение одного месяца, золотисто-багрового октября, еще трех самоубийц — Толю Жукова, Колю Силина и Володю Антонова — доставили в палату № 7, где уже третий месяц жил Семен Савельевич Самделов, пытавшийся повеситься в уборной, — веревку, хорошо намыленную, он и сейчас прятал под матрацем.

\*

Я люблю Жизнь, но меня любит Смерть.

## О, ДАЙТЕ, ДАЙТЕ МНЕ СВОБОДУ

*При слове «бегство» в жилах кровь течет скорее, словно вырастают крылья для свободного полета.*

ЕМИЛИЯ ДИККИНСОН

Главой «американцев» был всеми признан Василий Васильевич Голин. Как же, — он писал послание самому президенту Кеннеди и пытался передать его в американское посольство. Он вертелся в нерешительности на тротуаре у здания посольства, и тут его пригласили в будку: разговор был короткий, и через час он уже отдыхал на койке в палате № 7.

Вместе с ним в одной «чумовозке» прибыла на Канатчикову дачу Наташа Ростова (ничего не поделаешь, так ее звали, — автор не намерен пародировать героиню Льва Толстого, перед которой преклоняется). Она оказалась более удачливой, — ей удалось перебросить письмо через каменную ограду во двор посольства.

Говорить им особенно не пришлось, — в машине сидели вышибалы. Василий Васильевич только успел узнать, что Наташе двадцать два года, что она дочь профессора музыковедения, учится в консерватории по классу пения, — контральто, — что она невеста адвоката Шипова, молодого, но уже известного, но женой его вряд ли будет, что — «знаете, я жуткая дурёха и пропадаю — делаю одну глупость за другой и не могу остановиться».

Это он услышал и еще увидел очаровательную девуш-



ку, только не брюнетку, как толстовская Наташа, а золото-волосую, голубоглазую, с певучим голосом, порывистую, веселую, — дурёхой она никак не казалась, а пропащей — пожалуй. Во всяком случае, он почему-то сразу поверил, что она не будет женой адвоката Шипова, верной до гроба, не будет нянчить детей и озабоченно рассматривать зеленые пятна на пеленках. А даже совсем наоборот. Василий Васильевич всю жизнь не мог просить Толстому эти пеленки.

Вообще и сам Василий Васильевич был человек явно пропащий, хотя считал себя положительным, серьезным и даже благонамеренным; писал стихи в духе Надсона, которые сам называл «стишонками», очень плохие, что его, однако, не смущало. И вот бывает же так: парень как парень, пролетарского происхождения, никогда в жизни не наевшийся досыта, на десять лет моложе советской власти, токарь машиностроительного завода на Волге, и вдруг, будучи двадцатитрехлетним, решает, что советская власть — вещь прекрасная по идее — уже давно выродилась в тиранию и ее надо срочно исправить, пока не поздно. К выводу этому он пришел как раз на рубеже второй половины века, за два года до смерти Сталина, которого он задумал тогда убить, так как был непоколебимо уверен, что именно Сталин, в единственном числе, извратил учение Маркса-Ленина, всё изуродовал, казнил лучших людей, а оставшиеся — трусы, мелкота, холопы, и если их не заменить достойными, страна погибнет. Василий Васильевич, хотя и был убежденным марксистом, всё же считал, что историю делают личности, а не масса. Это была его единственная поправка к марксизму.

Со свойственной ему в те дни горячностью он стал пропагандировать свои идеи на заводе и вскоре очутился в концлагере на Воркуте, где принял участие в стройке нового угольного бассейна. Там он с удивлением узнал, что все так называемые великие стройки коммунизма — каналы, шахты, электростанции, железные дороги — строили каторжники; очень показательная ситуация, над которой следовало бы задуматься марксисту. Однако Василий Васильевич

Голин не обнаружил больших способностей к диалектическому мышлению за шесть лет, проведенных в концлагере, — он был освобожден только после двадцатого съезда партии. По-прежнему в его сознании господствовала нелепая уверенность, что во всем виноват один Сталин, а партия и советская власть — невинные овечки. А теперь, после смерти Сталина, все пойдет по-другому. Однако шли месяцы, годы, и ничего не менялось — он сидел в концлагере; говорили, что специальные комиссии будут разбирать дела заключенных, которых были миллионы, — как будто без разбора не ясно, что все эти люди ни в чем не виновны. Тут у него, правда, зародилась мысль о бюрократизации советского аппарата, какой мир еще не видел, но считал он это тоже наследием культа личности.

Никак не мог он понять, хотя ему и пытались разъяснить люди более толковые, что никакая личность не может сама себя культивировать, что партия давно переродилась в банду холопов, полицейских, карьеристов и ханжей. А банда не может без атамана, который должен быть нестигаемым, жестоким и своенравным — иначе ему не удержаться. Это видно из того, что сейчас начали новый культ, не меньший культ, чем бывший, хотя личность эта несравненно мельче Сталина.

— Нет, — говорил Голин, — партия переродиться не может.

— А иезуиты? — справедливо возражали ему. — Что общего у иезуитов с христианами? И наша партия претерпела такое же иезуитское перерождение. И нынешняя коммунистическая партия вовсе не марксистско-ленинская, а сталинская, разбойничья, не стесняющаяся в средствах, фашистско-иезуитская.

Голин не соглашался. Он говорил, что товарищи, пострадавшие несправедливо, всё преувеличивают, что они из-за деревьев не видят леса; конечно, есть переродившиеся негодяи, всё это чекисты и чинуши, но партия в целом здорова и справится с этой болезнью, восстановит ленинскую демократию.

Когда его освободили из концлагеря, Голин решил вплотную заняться пропагандой своих идей, надеясь, что сейчас ничто ему не помешает. Написал статью о том, что необходимо скорее восстановить демократию, покончить с бюрократизмом, местничеством, организовать настоящие выборы в Верховный Совет и местные, со свободным выдвижением и соревнованием кандидатов, изменить бюрократическое планирование, ограничить функции чекистов и еще многое.

Статью отказались напечатать; через три дня вызвали в комитет госбезопасности, внушительно с ним побеседовали и предупредили, что в следующий раз, если он не прекратит своей подрывной работы, с ним поступят строже.

Голин вышел из многоэтажного здания КГБ ошеломленный: «Значит, весь этот новый курс, — социалистическая законность, демократия, — это пустые слова, сплошная липа. По-прежнему каждый мыслящий человек — враг, за которым охотятся чекисты. Чорт побери, просчитался я...»

Долго размышлял Голин и наконец пришел к выводу, что нынешний режим, действительно, мало чем отличается от сталинского. Однако по-прежнему считал, что не партия в этом виновата, а что просто народ еще скован страхом после двадцати лет террора и что во всем виноват Хрущев — незадачливый руководитель, мелкий политикан, сумевший путем низких интриг захватить власть, устранить конкурентов. Значит, надо сменить руководство, — историю делают личности. Но как это сделать? И предохранить народ от того, чтобы Хрущева не сменил худший тиран, — ведь миллионы полицейских готовы поддержать любого — они то уж все сталинские опричники и другими не будут.

Голин знал о брожении и недовольстве в стране. Была трехдневная забастовка и на заводе, где он работал. Но все это — мелочи. В ближайшее время трудно надеяться на успешное восстание. Народ обескровлен и запуган. Лучшие люди перебиты. И если даже недовольство будет расти, — в этом он не сомневался, — всё же пройдут еще многие годы, пока вырастет новое поколение, более решительное и

смелое, которое не захочет мириться с положением рабов.

Однако ждать он не хотел.

Голин считал такое пассивное ожидание недостойным великого русского народа. И у него созрел новый план. Его идеалом теперь был югославский строй. И он решил, что надо обратиться к Кеннеди, объяснить ему положение вещей, рассказать о всеобщем недовольстве, о том, что русский народ встретит американцев хлебом, солью и колокольным звоном, и даже армия сложит перед ними оружие, поскольку все знают, что американцы не собираются захватывать Россию, а только хотят помочь русскому народу освободиться от узурпаторов. Есть слухи, что в армии даже зреет заговор. Голин уверял, что это единственный путь спасения.

— Поймите, — говорил он, — что наши не осмелятся первыми применить атомное оружие. А Запад не применит. И наши сдадутся без боя... Ну, конечно, придется сделать Западу уступки, — это я насчет Германии. Так не пропадать же нам из-за немцев. Пусть сами дерутся между собой.

В таком духе составленное послание Кеннеди Голин пытался передать американскому послу.

В палате № 7 над его наивностью смеялись все, — однако он не отступал от своей донкихотской позиции, обижался, когда его называли наивным чудаком. Он был ослеплен своей идеей, как маньяк, и это тревожило всех его друзей, — обитатели палаты № 7 чувствовали братскую ответственность за каждого. Голин больше ни о чем не думал, не говорил; у него была жена, маленький сын, но он даже не вспоминал о них, не писал им; возможно, что он и не жил с ними, — он всегда уклонялся от ясного ответа, когда заходил разговор о его близких, и спешил переменить тему. Узнали только, что в последние месяцы он почти не работал, числился прогульщиком, зарабатывал не больше сорока рублей в месяц, ходил чуть ли не в лохмотьях, — у него даже не было пальто, — и питался он так, чтобы только не умереть с голоду. В больнице он стал заметно поправляться.

Вторым «американцем» в палате № 7 был Женя Диа-

мант. Жгучий брюнет, очень похожий на итальянца из Калабрии. Он вернулся недавно из гастрольной поездки по городам Италии, — был в Риме, Милане, Турине, Неаполе, Венеции. Ему минуло недавно двадцать пять, и в Риме он отпраздновал двадцатилетие своей концертной деятельности, — впервые он выступил на праздничном концерте в Кремле пятилетним. Женя был тогда очень маленького роста и играл, стоя на табурете. Он исполнял «Юмореску» Дворжака, и эта пленительная пьеса осталась на всю жизнь его излюбленной вещью, которую он обязательно исполнял на всех своих концертах. Отец, дед, братья, сестры Жени были музыкантами и почти все — скрипачами, только мать была опереточной примадонной, часто изменяла отцу, и дома у них всегда было столпотворение.

— Жили мы, как в трактире низшего разряда, — рассказывал Женя. — Отец и мать вечно ругались, устраивали побоища и опять мирились, пили вино, целовались, и так без конца — сумасшедшая карусель. Отец был концертмейстером Большого театра, прекрасный скрипач, педагог, и если бы не злосчастная любовь к матери, которая до старости оставалась в жизни, как на сцене, каскадной субреткой, он стал бы великим артистом. Мы все росли как сорная трава, а было нас пятеро: трое братьев и две сестры; к счастью, в консерватории все знали нашу семью потомственных музыкантов; преподаватели жалели нас и даже нередко подкармливали, хотя отец зарабатывал немало, но дома не всегда бывал обед. Кроме того, мои родители до того были заняты своими переживаниями, ссорами, примирениями, что попросту забывали о существовании своих пяти отпрысков; я был самым младшим. Наконец развал нашей семьи достиг своего апогея; родителей я невероятно боялся, они казались мне чужими и враждебными, — матерью моей фактически была старшая сестра.

Чем больше Женя рос, тем становилось очевиднее, что появился большой музыкант, все наперебой говорили о восходящей звезде — Жене Диаманте; и многие старались сжить его со света. Особенно усердствовали дебелие мама-

ши вундеркиндов и лауреатов, боявшиеся, что Женя затмит их потомков. Женя стал подозрительным, нервным. Ему было тринадцать лет, когда отец, прослушав «Умирающего лебедя» Сен-Санса в его исполнении, сказал ему:

— Несчастный ты парень, Женька, — и прослезился, должно быть, был не совсем трезв, но и не пьян.

Женя молча глядел на отца.

— Несчастный ты, Женька, по той причине, что ты — великий артист. Не то что твои братья — добросовестные ремесленники и ничего больше. Смотри же, чтоб тебя не загубила проклятая любовь, как меня. Искусство еще ревнивее, чем женщина. Я играл твоей матери потрясающие песни любви на всех струнах моей души, а душа — инструмент еще более деликатный, чем скрипка Страдивариуса. Твоя мать оставалась нечувствительной, словно слон ей наступил на ухо и на сердце; я всё больше натягивал струны, и они лопнули. Да, теперь я играю на порванных струнах — какофония получается... Но Бог решил вознаградить меня в тебе. Смотри же, не погуби свой талант. Храни его, как свою душу. Он и есть твоя душа. Дай мне честное слово артиста, что ты никогда не женишься. Отдай всю свою страсть скрипке, музыке, а музыка — бог искусства.

Женя запомнил отцовский завет и ушел в музыку, как отшельники и святые уходили в пустыню, где они жили наедине с Богом. Но толпа никогда не прощает человеку гениальности. Гений всегда был мучеником, и Женя вскоре на себе почувствовал эту истину. Особенно разъярились товарищи его, когда пришли первые вести о его триумфе в Риме и Флоренции. В большой рецензии одной итальянской газеты досужий фельетонист написал, что известный импрессарио сделал синьору Евгению Диаманто лестное предложение — остаться в Италии; по слухам, ангажемент предусматривает по миллиону лир за концерт. Он выразил надежду, что синьор Диаманто примет это предложение, что его вряд ли устраивает жалкий оклад советского музыканта, что талант должен быть вознагражден по достоинству.

Руководитель группы советских артистов тотчас же пристал к Жене с ножом к горлу:

— Признайся лучше, тебе сделали предложение и ты хочешь остаться здесь?

— Да нет, мне никто не делал подобных предложений, а этого антерпренера я и в глаза не видел, — всё сочинил фельетонист.

Однако ему не поверили. Какие-то субъекты стали за ним ходить по пятам. Его довели до того, что однажды, после крупного разговора с руководителем группы, он, не помня себя, выбежал на улицу Милана, что-то выкрикивая, и немного спустя потерял сознание. Его подобрали и отвезли в больницу. Когда он пришел в себя, врачи его стали расспрашивать, что с ним произошло, как все случилось. Женя очень плохо знал итальянский язык и на ломаном итало-французском жаргоне пытался объяснить, что поссорился с товарищами. Врач это понял по-своему. На следующий день в газете появилась заметка под кричащим заголовком; в ней сообщалось, что красные замучили несчастного музыканта, который хочет остаться в Италии. Через два дня, когда состояние его улучшилось, за ним приехала машина из советского посольства, и его увезли прямо на аэродром.

В Москве товарищи встретили его злорадными усмешками и колкими словечками:

— Что — улыбнулась Италия?

— Номер не удался?

Дважды его вызывали в КГБ.

Женя перестал спать по ночам. Однажды после спектакля он беседовал с дирижером об очередной постановке и задумчиво сказал:

— Не знаю, доживу ли до премьеры.

— А почему? Что с тобой?

Женя наклонился к самому уху дирижера и прошептал:

— Боюсь, что меня прикончат.

Дирижер сообщил об этом администрации театра, и те, не долго думая, отвезли его на Канатчикову дачу.

— Ничего особенного, мания преследования, — определили врачи. — Годик полечится, и пройдет.

И начали его пичкать аминодином, андаксином и прочими снадобьями. Жене из месяца в месяц становилось всё хуже. Он стал чуждаться людей — все казались ему врагами, доносчиками, хотя все его любили и в палате № 7 его фактически лечили вниманием и любовью. Это он почувствовал и очень привязался к соседям, особенно к Валентину Алмазову, которому доверял все свои тайны и помыслы. Женя пришел как-то ночью к Алмазову робкий, печальный, попросил разрешения сесть на койку и заговорил своим нежным и всегда взволнованным голосом, глядя куда-то вдаль:

— Валентин Иванович, объясните мне что-нибудь. Я совершенный профан, ничего решительно не понимаю ни в жизни, ни в политике. Почему меня все преследуют? Почему мне не дают жить? Чем и кому я мешаю?

Валентин Алмазов с самого начала полюбил этого взрослого ребенка. Поэтому старался не очень испугать его, хотя ничего утешительного придумать не мог.

— На первый вопрос ответ ясен, — ведь и меня, и всех нас, обитателей нашей планеты, преследуют потому, что мы не приспособленцы, не холопы, — это вам должно быть ясно. Нам всем не место в этой проклятой стране. А вы — совсем беспомощный и не можете дать отпора интриганам и полицейским. У вас нет никакого защитного покрова, ни способности к мимикрии. Надо было вам остаться в Италии. И не из-за денег, а потому что Италия — свободная страна, где могут жить артисты, настоящие люди. Там над искусством и его служителями не властвуют жандармы, как у нас. Там даже противники режима, крупные политические деятели, не преследуются полицией. Коммунисты по государственному радио и телевидению призывают свергнуть правящую верхушку, — можете вы вообразить нечто подобное в нашей сверхполицейской стране? Я разъясню вам положение вещей. Артист, художник должен ориентироваться в этих джунглях, хотя политика ему чужда, — он не занимает



ся политикой, но, к несчастью, политика занимается им. Первый тоталитарный фашистский режим был создан в России. Естественно, что мир, устранившись масштабов советских злодеяний, начал принимать защитные меры. И в наиболее реакционных странах тоже утвердился фашизм как ответная реакция на советскую тиранию. Ясно, что надо покончить со всеми этими фашистами, освободить, прежде всего, порабощенные народы России и восстановить во всем мире демократию. Надеюсь, что это наступит в недалеком будущем. Тогда вы, Женя, будете играть в России, и во всем мире; никто вас не будет преследовать и вы будете здоровы и счастливы. Сегодня вы просто больны страхом перед людьми — такого у нас много, очень много. Наша страна — темный подвал, наполненный страшными призраками, а вы — младенец, боитесь. Но все это пройдет — верьте, надейтесь...



Дни тянулись бесконечно, мучительно, и особенно вчера: в семь часов кончали ужин, до половины девятого телевизор, — только для спокойных, — но что там смотреть?

Люди слонялись по Проспекту Сумасшедших, вели бесконечные разговоры, играли в шахматы, шашки, домино, читали. А в десять загоняли в палаты.

Но спать почти никому не хотелось. Правда, сестры охотно раздавали снотворные таблетки, но и они уже не спасали от бессонницы. И ночью, когда весь дежурный персонал спокойно и крепко спал на диванах, снова начиналось движение по Проспекту, — на этот раз бесшумное, словно двигались привидения, — все в одном белье неслышно ступали по линолеуму и почти беззвучно шептали пересохшими губами таинственные слова, они шелестели, как сухие листья, так же бесшумно кружившиеся за окном.

В палате № 7 разговоры не прекращались всю ночь. И дежурные ничего не могли поделать, — ее обитатели с каждым днем становились все строптивее.

— Этот Алмазов разложил все отделение, — жаловалась Кизяк главному врачу. — Я не знаю, как мне от него избавиться. Я бы отдала половину своей зарплаты, чтобы его не было.

— Да-а... — задумчиво отвечал главный врач, грузный старик, с вечно уставшим одутловатым лицом и одышкой. — Во всей больнице идут о нем разговоры. Сидит здоровый человек, не лечат, известный писатель... черт знает что... Ну а вы, Лидия Архиповна, считаете его больным?

Кизяк больше всего боялась этого вопроса. Как все карьеристы, проталкивающиеся в жизни локтями, она опасалась неприятностей, осложнений, могущих повредить её карьере. Бесчеловечная, бездушная, она никого не жалела, никому не сочувствовала, никого не любила; и ей меньше всего жаль было Алмазова, но она боялась его, даже почти перестала заходить в палату № 7. Разумеется, она не была абсолютно невежественной и прекрасно знала, что Валентин Алмазов совершенно здоров; даже удивлялась, что длительное пребывание в психиатрической больнице нисколько не влияет на его здоровье. Но одно дело — знать это, а совсем другое — произнести вслух, да еще в присутствии главного врача; на это она не решалась. И по многим причинам. Мало ли что может получиться. Дело Валентина Алмазова стало достоянием международной прессы — и в конце концов отвечает больше всех она. Всем известно, что Валентин Алмазов помещен сюда по указанию чекистов, но они никаких бумаг не писали, от них не потребуешь; какой-то полковник госбезопасности позвонил в министерство здравоохранения, и из министерства за подписью Бабаджана полетела бумажка московскому психиатру Янушкевичу — доставить Алмазова в сумасшедший дом любыми средствами. Полицейские неукоснительно выполнили приказ начальства. Но официально вся ответственность падает на нее, Кизяк. Она — лечащий врач Алмазова — должна произвести обследование и поставить диагноз, лечить, вести историю болезни. Как же быть? Не может она фиксировать заведомо фальшивые данные, сочинить диагноз; а вдруг будет междуна-

родная комиссия, — все может случиться, — и тогда все умоют руки, а она — на каторгу... Что делать?

Все это мгновенно пронеслось в голове Кизяк, и она сказала внимательно смотревшему на нее Андрианову:

— Не могу вам ответить на этот вопрос, — дело в том, что клинические обследования затянулись, и Алмазов сам их затягивает. Упорно отказывается от спинно-мозговой пункции, даже до того договорился, будто мы хотим его отравить или искалечить; угрожает убить того, кто попытается с ним сделать что-нибудь насильно. Я и хотел с вами посоветоваться: как быть? С одной стороны, надо сообщить в министерство результаты обследования, а с другой, — не годится же устраивать шумный скандал.

— Ну, что ж... продолжайте обследования, — сказал Андрианов, — думаю, что Бабаджан не будет нас торопить. А к насилию прибегать не советую.

— Я тоже так думаю.

— Профессорам его показывали?

— Нет еще. Хотела показать Андрею Ефимовичу, но он уехал в Америку.

— Покажите Штейну.



Бесконечно тянутся дни, а недели и месяцы протекают с поразительной быстротой. Но еще больше удивляет Валентина Алмазова, что все пациенты палаты № 7, поначалу рвавшиеся на волю, сейчас как-то присмирели и как будто даже не спешили выписываться, — раздавались даже голоса, сначала робкие, потом все более настойчивые, что здесь не хуже чем на воле, а может быть, лучше. Семен Савельевич Самделов однажды вечером, после ужина, когда все из палаты № 7 собрались, как обычно, вокруг койки Алмазова, тесно усевшись по три-четыре человека на соседних койках, неожиданно заявил:

— Милые люди, я не знаю, что вы потеряли там, на воле, а я совсем не хочу домой. Здесь прекрасно. Кормят,

одевают и не пристают с коммунизмом. Заметили? Никакой пропаганды, агитации, говори, что вздумается, — где еще найдете такое место в нашей стране? Спокойно. Мне за то, что я включил «Черный обелиск» Ремарка в рекомендательно-библиографический бюллетень, выговор объявили. Куда же дальше ехать? А тут никаких неприятностей. Через четыре месяца переведут на пенсию. Живешь на всем готовом, да еще пенсия. Чего еще надо? Да жить с такими чудесными людьми, как вы, я согласен до скончания века. Я даже готов имитировать болезнь. Врачи все равно ничего не смыслят. Возьмите Мельникова из одиннадцатой, он уже третий год здесь околачивается, и сам признался, что дурака валяет, не хочет домой...

Все молча слушали Самделова.

— Нет, неладное говорите, — сказал Валентин Алмазов. — Покоряться? Ни за что! И если спрятаться от жизни, тогда ведь что получается? Прозябание! Зачем тогда жить? В тюрьме жизни нет.

— Да, всеобщая тюрьма, — задумчиво сказал Толя Жуков. — И никакой надежды на освобождение... Только разве...

— Я уже не раз говорил тебе, Толя, — повысил голос Николай Васильевич Морёный, — что не себя надо резать, а их!

— Это легко сказать, — сказал Павел Николаевич Загогулин, — да не легко бороться с такой косной силой. Горé голову не отрежешь. И уж очень много сволочи всякой развелось, — вроде моей жены. Эта сволочь поддерживает режим. А чиновники! Чекисты! Врачи! Таких, как наша Ильза Кох (так прозвали Кизяк), — десятки тысяч, как мы — единицы, десятки.

— А вы не видите, Павел Николаевич, что растут и наши ряды. Нет, не единицы, не десятки нас, а тысячи, и скоро будут миллионы. Они только не заявляют о себе громко, но они есть, надо суметь собрать, зажечь, и мы такой мировой пожар раздуем, что не потушить его никаким полицейским на земле, — сказал Антонов.

— Володя, не говори так громко. Услышат шпионы и

всех нас расстреляют, — тревожно озираясь, сказал Женя Диамант.

— Эх ты, профсоюзная тля, а еще музыкант! — с досадой крикнул Володя Антонов. — Здесь бояться нечего, мы уже сумасшедшие, — даже судить нас нельзя. А дело наше правое, и мы победим.

— Правильно, Володя, — сказал Валентин Алмазов. — Вся наша беда в том, что мы преувеличиваем нашу слабость. Мы только ту же затягиваем на нашей шее петлю. И это ослабляет волю к действию.

— Воля и власть! — как сказал великий Ницше, — крикнул Володя Антонов.

— Удивительное дело, — продолжал Алмазов, — люди наши так привыкли к торжеству зла, что носители правды чувствуют себя обреченными, а иные слишком поспешно капитулируют. Я понимаю нигилистов. Они явно берут верх. И это ужасно. Человечество не должно, не может погибнуть. Разве можно без содрогания представить себе, что некому будет читать «Братьев Карамазовых», что не будет звучать «Алпассионата», что исчезнут «Давид» и «Тайная вечеря». Но если не уничтожить советско-китайский фашизм, человечество погибнет — это для меня тоже ясно.

— Для всех ясно, — сказал Голин. — Но мы не сдадимся.

\*

Утром Валентина Алмазова вызвали к профессору Штейну.

В комнате, узкой и длинной, сидели все штатные врачи и прикомандированные для усовершенствования, — человек сорок. Профессор сидел один на плюшевом диване, закинув голову, и на вошедшего Алмазова смотрел, как смотрит посетитель зоопарка на редкий экземпляр индийского слона. Глаза всех врачей тоже были обращены на Алмазова.

— Ну что ж, давайте знакомиться, Валентин Иванович, — с напускной развязностью начал Штейн. — Меня

зовут Абрам Григорьевич. Расскажите, как вы попали сюда, как заболели.

Алмазов посмотрел на Штейна исподлобья таким уничтожающим взглядом, что тот даже заерзал на диване.

— Знакомиться с вами у меня особенной охоты нет, но вынужден. А привезли меня сюда полицейские. Здоровье у меня отличное, а ваша задача расстроить его. Предупреждаю, это вам не удастся.

— Неважно, как вы сюда попали. Но имейте в виду, что здоровые сюда не попадают.

— Точно так же говорили чекисты на допросах. Невинные не могут попасть в советскую тюрьму, — говорили они. — А тот, кто это утверждает, — антисоветский человек. Значит, ему место в тюрьме... Ну, а теперь сталинские тюрьмы заменены сумасшедшими домами.

— Да... вы что-то очень не похожи на нормального человека.

— И товарищи мне говорили, что только сумасшедший может бороться с такой чудовищной силищей, как советская камарилья.

— Верно! Вы сумасшедший! Вас надо лечить!

— Не передергивайте! Я не буду с вами спорить, — считаю ниже своего достоинства спорить с такими...

Штейн покраснел, потом торопливо усмехнулся, кривя губы, и сказал:

— Мы на больных не обижаемся.

— Я на полицейских тоже не обижаюсь, так же как на холопов.

— А мы кто, по-вашему, полицейские или холопы?

— И те и другие.

— И больше никого нет в советском обществе?

— Советское общество — это мусорная свалка человечества, отравляющая своим зловонием весь цивилизованный мир, я уже долгое время прохожу мимо, зажав нос, но признаться — становится все труднее дышать.

— Как вы можете говорить такие страшные вещи, — у нормального человека язык не повернется...

— Холопы и трусы всегда страшатся правды, особенно когда встречаются с ней лицом к лицу.

— Да, вы безусловно больны... И я предлагаю вам мировую, — давайте полечимся, и все будет в порядке. — Он протянул Алмазову руку.

Алмазов сделал вид, что не замечает его протянутой руки, повернулся к нему спиной и пошел к дверям.



К Коле Силину ходила на свидание очень красивая девушка. Она была так хороша, что Валентин Алмазов, приходивший в неистовый восторг всякий раз, когда Красота милостиво назначала ему короткие свидания, даже не мог описать ее наружности. Он помнил только, что она была как пышная гортензия, слишком возбуждающе созревшая. Он даже позавидовал Коле, так же, как завидовал и радовался, услышав хорошие стихи друга.

Они сидели в углу комнаты, где по воскресеньям происходили свидания. Сегодня был будний день, но некоторым в виде исключения давали внеочередные свидания. Коля низко склонил голову, и девушка тоже наклонилась, так что их лбы почти касались. Иногда она тревожно оглядывалась, — глаза у нее были огромные, как у газели, испуганной кем-то, всех цветов радуги; казалось, она мчится по косогору, ярко освещенному солнцем, так что непрерывно меняется цвет ее глаз от игры солнечных бликов и теней, бегущих за ветром.

А пока Валентин Алмазов думал о счастье Коли Силина и о двойной нелепости его попытки покончить с собой, когда он обладает таким несметным сокровищем, Адель — так звали девушку — тихо шептала ему:

— Не говори мне, что ты меня любишь... не надо... Я все равно отлично знаю, что ты не любишь меня больше... и не потому, что разлюбил или увлекся другой, а потому, что ты разлюбил жизнь — и тебе все на свете безразлично.

Коля рассеянно кивал головой. Он думал о том, что

Адель он любит безумно, так же, как жизнь, и никогда не разлюбит ни ту, ни другую. Но Адель его не любит, так же, как не любит Жизнь, бросившая его в застенки. И не потому, что разлюбила, — нельзя разлюбить, когда вообще не обладаешь способностью любить, — и не потому, что полюбила другого, — или вернее, потому, что всегда любила другого, — то-есть себя, только себя. Роман их длился два года. Они познакомились на пляже в Сочи. Коля был ошеломлен ее магической красотой, — Адель была как изваяние эллинского гения. Она хорошо знала силу своего очарования. Она так же хорошо знала силу своего мраморного равнодушия ко всем и ко всему на свете, кроме богатства, нарядов, дорогих ресторанов, машин, веселья и себя самой. Она училась в институте иностранных языков, училась старательно, чтобы наверняка попасть за границу, на работу в посольство, где она надеялась стать звездой экрана, женой миллионера, чтобы жить как в фильме «Сладкая жизнь», который она видела на просмотре в Министерстве культуры.

К Коле Силину Адель отнеслась серьезнее, чем к другим поклонникам. Его отец — генерал. Получает большой оклад. У Коли своя машина. Возможно, что они опять поедут за границу в ближайшее время. Кроме того, Коля — красивый парень, воспитывался в Риме. Она была с ним нежна, даже несколько раз раздевалась в его комнате, но ничего ему не позволяла, только целовать колени, как богине. И вдруг все пошло кувырком.

В один прекрасный день Коля ей сообщил, что ушел из дому, исключен из института, снял где-то комнатку и работает телефонистом. В его конуру Адель отказалась прийти — они встретились в парке.

— Ну, говори. Что ж ты молчишь? — Адель смотрела на него холодными чужими глазами, и все горячие слова, приготовленные для нее, застыли у него в горле.

Он только сказал:

— Да вот так. Не могу же я жить в доме фашиста и есть его хлеб, заработанный трудом шпииков и палачей.



— Ты с ума сошел, Коля, опомнись.

— Не надо стандартных слов, Адель, знаешь, как они мне противны.

— Что же, ты навсегда останешься телефонистом?

— Нет... я убегу за границу.

— И что ты там будешь делать? На какие средства думаешь жить? Там нищие идеалисты никому не нужны.

— Да... ты права. Я об этом не подумал. Но мне не нужно богатство, а только свобода. Я могу там работать переводчиком.

— И мне предложишь рай в шалаше... благодарю покорно. Но для этого рая я — неподходящий персонаж.

Тогда Коля впервые понял, что этот роман — очередная и, может быть, самая жестокая издевка Жизни над ним. Однако это не помешало ему любить ее с той страшной силой отчаяния и безнадежности, которая всегда ведет к трагической развязке. Но яд отравил не только его кровеносные сосуды в ту ночь, когда он решил свести счеты с жизнью, но и сердце.

Раньше Коля думал, что не может жить без Адель. Теперь он этого не думал. Он твердо знал, что вообще жить не может; и Адель тут уже никакой решающей роли не сыграет. И уже спокойно думал, что Адель уйдет от него навсегда.

Он был удивлен, когда она пришла к нему на свидание, так как не знал, что генерал Силин имел с ней продолжительную беседу. И сейчас Адель старательно выполняла поручение генерала.

Когда Адель всячески старалась уговорить его, что он её не любит, Коля помогал ей в этом, хотя ему было мучительно трудно расставаться с ней, примириться с мыслью, что он больше не увидит это ожившее мраморное чудо, не будет хмелеть от её божественной красоты, — но ведь она просто самая большая часть его жизни, которую он все равно удержать не может.

Адель между тем говорила:

— Впрочем, я тебе уже сказала, ты можешь доказать

мне, что любишь меня, если образумишься, вернешься домой, извинишься перед директором института. После того, что произошло, легко будет оправдать твоё выступление на комсомольском собрании просто болезнью. Ты кончишь институт, и я буду с тобой... навсегда.

Коля долго молчал. И так они молча сидели, наклонившись друг к другу. Потом Коля сказал:

— Смешная ты, Адель. Никто свою любовь не доказывает. Это не теорема. И ты свою теорему доказала именно потому, что никогда меня не любила. Домой я не вернусь. И мне неприятно думать, что ты, моя единственная любовь, явно стала орудием в руках фашистов.

— Как тебе не стыдно!

— Подумай, дорогая, на свободе, кто должен стыдиться, я или ты?

И он так посмотрел на неё, что слезы брызнули у нее из глаз. Она ушла с горьким сознанием большого поражения — первого в жизни после стольких блестящих побед, — и потому особенно горького.

## ПАДШИЙ АНГЕЛ

*Обрести свободу означало для нее —  
научиться любить свои цепи.*

ДЖ. МЕРЕДИТ

В тот день академик Нежевский был дважды поражен, ошеломлен — и оба раза одним и тем же человеком — Зоей Алексеевной Маховой.

Это было тем более неожиданно и знаменательно, что из семидесяти четырех прожитых лет Андрей Ефимович уже лет сорок ничему не удивлялся. На советскую жизнь он смотрел как летописец и поскольку был уверен, что конца этого кошмара ему не дожидаться, относился ко всему с тем необычайным равнодушием и терпением, которые являются даром больших людей и следствием непроницаемой тупости человекообразных.

Ученик французской школы психиатров, он считал, что душевнобольных вообще не существует. Хотя бы потому, что никто не может дать определения душевного здоровья. Значит, нет никакой твердой базы для определения и классификации патологических явлений в этой сфере. Что касается советской психиатрии, он считал, что это просто шарлатанство, лженаука, как все советские гуманитарные науки, поскольку ими отрицается существование души, Бога, интуиции, откровения.

— Как же могут лечить душевные болезни люди, которые не знают, что такое душа? Смешно, не правда ли? —

говорил он на великолепном французском языке своему другу французскому психиатру Рене Жийяру.

— Друг мой, — своим мягким, немного женственным, певучим голосом, слегка растягивая слова, говорил доктор Жийяр, полный, невысокого роста, стареющий мужчина с большой волнистой седеющей шевелюрой, — вы оговорились, и я осмелюсь вас поправить. Ведь мы с вами признаем только особые душевные состояния, но не называем их болезнями, и стремимся их модифицировать только одним методом — изменением образа жизни пациента, поскольку все эти отягчающие психику явления тоже, и даже исключительно, вызываются его образом жизни.

— Да, да, конечно, — кивнул своей львиной головой Андрей Ефимович. — Я несколько раз пытался говорить в министерстве о ваших методах лечения, но там и слушать не захотели. Впрочем, ваш метод и неосуществим в советских условиях. Во-первых, у нас миллионы ушибленных людей. Ведь Сталин и его камарилья чуть не всю Россию вогнали в панику своими неслыханными жестокостями и десятилетиями террора. Можно без ошибки поставить диагноз, что вся Россия страдает манией преследования. И вы сами понимаете, что необходимо немалое время для того, чтобы вылечить народ от этой мании. Однако, дорогой коллега, благоприятных симптомов нет, — показателем этого служит молодое поколение, которое держат в таких ежовых рукавицах, что есть многократные случаи мании этой у молодежи. Во-вторых, образ жизни нашего народа таков, что он может только усугублять психологическую депрессию: вечная нужда, невозможность свести концы с концами, лишения, отсутствие уверенности в завтрашнем дне: стоит на шаг отступить от сервиллистского статуса, выступить против какого-нибудь даже мелкого сатрапа районного масштаба, и вы можете лишиться всего — работы, квартиры, положения в обществе. А главное — это отсутствие перспективы, надежды на лучшее будущее. Мой сын окончил университет в тридцатых годах. И недавно он рассказал мне, что на выпускном балу секретарь партийного ко-

митета с пафосом воскликнул: «Я завидую вам, что вы будете еще только зрелыми людьми в начале второй половины века, когда наша страна будет богатой, всего будет в изобилии, жизнь будет прекрасна!» Но вот уже двенадцать лет мы прожили во второй половине века. И что же? Изобилие такое, что даже хлеба нельзя достать во многих местах, а крупы, макарон, которые вы так любите, даже в Москве нет. А цены в три-четыре раза выше, чем в те далекие годы. С каждым десятилетием жить становится хуже, тяжелее, безрадостнее, а о духовной пище и говорить не приходится. Одна марксистская жвачка. Ни музыки, ни фильмов, ни замечательных книг Запада. Да что говорить! Вы сами это знаете. А народ хочет жить. Да... В то время как у вас избегают применения лекарственной терапии, в лечебницах запрещается строжайше всему персоналу произносить слово «больной», вы лечите, только изменяя образ жизни пациента: полная свобода времяпрепровождения, передвижения, общения мужчин с женщинами и даже любовь, у нас — тюремный режим в больнице, и мы, врачи, как тюремщики, ходим с ключами вместо стетоскопов, а когда я о заграничном опыте рассказывал, — на меня смотрели как на сочинителя охотничьих рассказов. Руководитель психиатрического отдела министерства доктор Бабаджан сказал мне: — «Да, Запад давно хочет навязать нам эту идеалистическую кухню, но мы не клюнем на эту буржуазную удочку...» Я не стал с ним спорить. В моем возрасте смешно заниматься донкихотством.

— Значит, вы только ограничиваетесь таблетками счастья?

— Да, таблетки счастья, как вы их метко назвали, — все эти аминокислоты, анадоксины и прочая муть, на которую наши эскулапы молятся.

— Но ведь они приносят пациентам нечто, имеющее мало общего со счастьем: потерю памяти, порчу зрения, половую импотенцию, равнодушие и апатию. Неужели все эти факторы у вас считаются счастьем?

— А почему бы и нет? Наши главари заинтересованы

в том, чтобы советские люди не имели хорошей памяти, — поскорее забудут их злодеяния. Пусть видят хуже — может быть, им покажется не такой неприглядной наша действительность. А апатия их особенно устраивает — равнодушные и апатичные не склонны протестовать, возмущаться, не устраивают заговоров. Понижение половой активности не мешает — у нас не хватает жилищ и пищи. Сформировать покорного робота — идеал советского общества. В больницах у нас обязательна грубость, даже мордобой — как своеобразный метод лечения. Я знаю сотни врачей-психиатров, но ни одного из них не могу назвать ни врачом, ни психиатром.

— Печальные вещи вы рассказываете мой друг. Как вам должно быть тяжело работать без настоящего окружения, без страстной заинтересованности помощников.

— Вы забыли, дорогой друг, что я тоже равнодушный. Без этой прививки жить у нас нельзя. Да и не могу сказать, что я по-настоящему работаю. Скорее наблюдаю и порой стараюсь облегчить участь какого-нибудь стоящего человека, попавшего в наши застенки.

— О да, мне, конечно, во много раз лучше работать. А своими врачами я могу похвастаться — прекрасные работники...

— Скажите, а самоубийц вы лечите?

— К нам не обращались такие пациенты. А полиция к нам никого не приводит, как у вас. Мы считаем, что больница — не тюрьма, и насильно не лечим. Да и вообще только идиоты могут лечить насильно.

— И палачи...

— Согласен... Но если бы к нам обратился такой пациент, мы бы его не приняли. Если человек не может или не хочет жить — это его частное дело... Каждый имеет право распорядиться своей жизнью по своему усмотрению, а не как угодно начальству. Принудительное лечение — это варварство, дикость, и мы на это никогда не пойдем. В нашей жизни есть, конечно, темные места, но на свете без теней

не обойдешься. Всякое насилие отвратительно. Особенно идейное, душевное.

— Да, а у нас насилие всячески возведено в принцип. Весь воздух у нас пропитался тюремной вонью.

— Неужели у вас совсем невозможен голос критики?

— Официально, открыто — абсолютно невозможен. Ни в прессе, ни по радио, ни на одном собрании нельзя произнести ни одного свободного слова. Но критика есть. Это — анекдоты, наш советский эпос. Удивительно остроумные, меткие, язвительные. Их тысячи. Они рождаются каждый день...

Разговор этот происходил в прошлом году, в Париже. О нем ничего не было известно даже вездесущим репортерам больших газет. Не знали и советские психиатры, как оценивает их труд маститый академик, хотя их часто смущала ироническая усмешка с оттенком презрительного снисхождения, которая не сходила с его лица, когда он с ними разговаривал.



Незадолго до отъезда академика Нежевского в Соединенные Штаты на всемирный конгресс психиатров, в течение одного дня произошли два случая.

Первый — с молодым поэтом Макаром Славковым. Его показывали утром академику.

Если хотите — обыкновенная история.

Макар Славков недавно отпраздновал свое двадцатилетие. Праздник получился на славу, хотя и не по намеченной программе. Макар Славков был фантазером и ещё строил такие устаревшие сооружения, как воздушные замки, и верил в их относительную прочность. Он работал на заводе и, надо сказать, неважно. Шестьдесят рублей в месяц — доход небольшой для двадцатилетнего юноши, обладающего ненасытным аппетитом к жизни, желающего поесть, выпить, одеться, пойти в кино и кафе с курносой Шурочкой, чертовски соблазнительной, но ни на что не согласной

(«женись — тогда.» Правда она за Славкова выходить и не собиралась — так только, для коллекции, авось из него что-нибудь выйдет). Однако Славков покупал Шурочке пирожные и лимонад, водил ее в кино и до того дошел, что протерлись штаны, запросили каши башмаки, а купить обновку было не на что. Жил он с сестрой в какой-то каморке у двоюродной тетки на птичьих правах.

Макар Славков любил жизнь до исступления. У него было очень своеобразное дарование, — и это привело в смущение заведующего отделом поэзии в московском толстом журнале, Антипёрова.

Отделаться от посетителя можно было очень просто, но он почувствовал, что парень этот опасен, что его стихи начнут заучивать мальчишки-поэты, которые где-то собираются и стихи их расходятся по всей России. Антипёров сообщил о Славкове в КГБ, — на всякий случай.

Большой успех у молодежи вызвало стихотворение Макара Славкова «Бессонница». Успех даже немного вскружил ему голову. Но... как знакомиться с людьми, как встречаться, когда не во что одеться?

Шурочка не была столь чувствительна к поэтическим успехам Макара, — она вообще плохо разбиралась в поэзии, — зато была обворожительна. Славков задыхался от желания обладать этим розовым чудом. А она все говорила о том, что Петька Жук отлично одевается, отец ему купил легковую машину, и он ездил в ней в институт, и вообще — Петька парень хоть куда.

Слушал Макар, глотая слюну, и вместе с ней — черные жабы обид.

Может быть плоха любая клетка.  
Клетка всегда — западня.  
Так я думаю на закате дня —  
И курносая кокетка  
  в платье в клетку  
сказала очень метко  
про машину, и про стиль стилиги, —



Но Ромео я, не Яго.  
Оранжевые круги и мельничные лопасти  
вертятся вокруг ослепительно —  
и смотрят все — притом неодобрительно —  
на мои несчастья и напасти,  
и должен пропасть я  
из-за пары сношенных штанов, —  
не получив и полпорции счастья.  
Что ж, я пропасть готов.  
Все времена своих Исааков тащут  
на жертвенный алтарь,  
и мог отцом моим быть царь! —  
но разве жизнь была бы слаще,  
краще?

Быть может, только лучше крыша,  
— пожалуй, не бегали бы крысы,  
и не хрипела бы тетка, как простуженная труба, —  
а мне ведь все равно — труба.  
А жизнь совсем другой табак.

Но я скажу, однако, —  
что если клетка — так уж золотая,  
иль золоченая хотя бы,  
и чтобы закачались бабы —  
пусть Микеланджело ее бы смастерил,  
и чтоб стерег ее архангел Гавриил,  
как райские врата —

Н-да...

Походка у тебя не та...  
Отец твой не был царь.  
А ты тот самый именно Макар,  
на которого все шишки уж свалились  
в двадцать лет —  
и не на что купить конфет  
курносой Дульцинее. —  
Короче день мой, ночь длиннее, —  
— так почему не стать ей бесконечной,  
вечной?

Так привычно думалось стихами. Потом они так же привычно легли на бумагу, раскосые, хмельные, и над ними во главе стал недоумевающим властелином заголовок «Черный вопрос».

Шурочка обещала придти. Он купил бутылку белого вина, пахнувшего как осенний воздух. И весь день по стылой, побледневшей лазури неба раздумчиво бродили легкие туманы. Кружились золотые листья в поисках последнего убежища, — выброшенные из родного дома, они уже не заботились о красоте, сохли, бурели, — больше не ласкали их теплые ветры, — и падали, как подкошенные, в мутные осенние лужи.

Мрачный осенний день уже с утра овладел душой Макара Славкова и расположился в ней как полновластный хозяин, не слушая робких возражений бывшего оптимистического владельца, который пытался уговаривать его уйти, оставить ему его душу, в которой еще теснилась обстановка и утварь двадцати прожитых лет — поблекшие надежды, сморщенные мечты, опечаленные первые радости, ревнивая любовь к жизни, поэзии, Шурочке.

Но немилосердный и бестактный хозяин шагал взад и вперед по его душе, как бульдозер, расчищающий строительную площадку, — мял, топтал, вырывал с корнем все эти бранные остатки былого великолепия; и беззастенчиво орал, заглушая все звуки и поэтические мелодии:

— Хватит трепаться... ты, оптимистическая шарманка! Развелось вас, падших ангелов, до черта. И ты думаешь продержаться на своих ангельских дрожжах? Дудки! Стихов твоих печатать не будут. Ведь это индивидуалистические творения, которым объявлена война. Взять хотя бы твой последний опус «Черный вопрос». Уж самое заглавие выдает тебя с головой. Значит, голубчик, вопрос о советском бытии — для тебя черный? Значит, ты живешь в клетке, даже не позолоченной, а просто железной — за железной решеткой? — хоть и не написано, но читается между строк. И будешь жить до конца своих дней в этой клетке, потому что приспособиться не можешь. А Петька Жук про-

живет в золотой — ему наплевать на все идеалы, он — спекулянт, процветает, а такие как ты вянут, не успев расцвести. И Шурочка придет к нему, а не к тебе...

Макар курил одну папиросу за другой, и было горько во рту, хотелось плакать.

День прошел, как всегда, скучно, вяло, в дымном цехе, за давно опротивевшей ему работой, о которой он должен был писать стихи, — и о так называемых героях, которые так же героически томились, как он, мечтая поскорее уйти в забегаловку, выпить, забыть про свой героизм. В этой работе Макар видел лишь беспросветную скуку, ярмо, которое давит и унижает человека с творческой душой.

Эти мысли бродили в его голове, когда он возвращался домой по узкой улице, где его ежеминутно толкали, — и вдруг он увидел совсем близко Петьку Жука за рулем машины. Рядом с ним сидела Шурочка.

Придя домой, Макар, не снимая мокрого «непросыхающего» плаща, сел за качающийся столик, на котором стояла заготовленная еще накануне бутылка вина, тарелка с колбасой, пачка дешевого печенья и блюдо с карамелью.

И опять думалось стихами в те бесконечно долгие минуты, пока он выпил до дна всю бутылку вина, съел колбасу, печенье, конфеты, — все это он делал автоматически, как заведенная машина, не ощущая ни сладости, ни горечи.

Последние три конфеты он сунул в карман плаща и вышел на улицу.

Шел проливной дождь, ветер ломал оголенные сучья, вспомнилось — «на ногах не стоит человек». Макар шел шатаясь, размахивая руками, ветер ударялся о них, и ему казалось, что он клешет по щекам этот гнусный мир, с которым вступил в последнее единоборство. И вдруг увидел перед собой Александра Блока. Он внезапно вынырнул из тумана, поровнялся; он был намного выше маленького Макара, и тот должен был задрать голову, чтобы видеть затуманенные глаза поэта, устремленные в непостижимые дали вечности.

И Макар во весь голос закричал ему:

Тебя обманули, меня обманули,  
нас обманули всех, —  
ночь была, летели пули,  
и утром — успех.  
Но не для всех.  
А для кого?  
День — это ничего,  
недолог день, не век,  
но вечен Человек, —  
ему нельзя не быть, не помнить,  
не чувствовать, не знать.

Крадется ночь как тать.  
Ты в комнате один сидишь, ты слышишь?  
Скребнутся мыши,  
звенят тюремщиков ключи —  
тише, не кричи,  
никто нас не услышит.  
О правде, о героях,  
обо всем забудь, —  
ползет ночная чудь,  
темень, тиски, муть,  
крепчает на дворе мороз —  
а где же твой Христос  
в алом венчике из роз?  
Во тьме ночей двенадцать палачей  
ведут нас всех, кто уцелел,  
на расстрел,  
а впереди  
с красной звездой на груди  
шагает Ирод —  
уверенно ведет  
на бойню избранный народ...

Потом он пустился бежать, пока не очутился на берегу реки, — и там тоже не остановился, — он не помнил, что с ним произошло. Милиционер сообщил, что гражданин Славков, Макар Иванович, двадцати лет, рабочий, в нетрез-

вом состоянии бросился в реку, откуда его вытащил другой гражданин, Леонид Леонидович Неизвестный, тоже двадцати лет, студент. Гражданин Славков, придя в себя, на вопросы отвечал невразумительно и все выкрикивал ниже следующие слова: «Если бы все морды соединить в одну морду, я бы дал этой морде по морде». На указания дежурного, что нечего выражаться, что никаких морд в столице нашей родины быть не может, гражданин Славков, Макар Иванович, крикнул: «Вы — осел, в поэзии ничего не смыслите», и нахально хохотал, как помешанный, когда ему было справедливо замечено, что в выражениях про морды никакой поэзии нет, а только нарушение общественного порядка. Ввиду того, что гражданин Славков, Макар Иванович, явно находился в состоянии умопомешательства, он был направлен в психиатрическую больницу.

Необходимо добавить, что спасший Макара Леонид Леонидович Неизвестный тоже пришел на берег Яузы топиться, окончательно разочаровавшись в жизни. Собственно говоря, он уже не был студентом, так как его накануне исключили из института за карикатуру «Осел и ослиные соловьи», вывешенную им в актовом зале института. На большом листе картона был изображен жирный осел, как две капли воды похожий на Хрущева, восседающий во дворце за столом, обильно уставленным яствами и напитками. Вокруг него, торопливо клюя пищу, толпились микроослики с габаритами и головками соловьев. Осел поучал ослиных соловьев, а те восторженно чирикали. Под карикатурой было написано:

Читать умею по складам,  
но поучаю здесь и там,  
хоть я в рукав сморкаюсь сам,  
нос утираю господам.

Леонид Неизвестный вообще был человеком не то чтоб уж совсем нерешительным, но весьма колеблющимся. Он никогда твердо не знал, что предпримет в следующую ми-

нугу, поэтому все его планы и замыслы были эфемерны. Нет ничего удивительного в том, что, придя к реке с намерением утопиться, он вместо этого спас другого, — и это его чрезвычайно развеселило. Он был так возбужден и так забавно рассказывал, как он шел топиться и спас Славкова, что развеселил дежурного врача, который тут же решил, что перед ним несомненный шизофреник. Когда же Леониду Неизвестному предложили остаться на некоторое время здесь, в больнице, — отдохнуть и полечиться, — он с восторгом принял это предложение. Попросил только сообщить родителям, закончив:

— Впрочем, можете и не сообщать, — мне все равно.

Их обоих направили в палату № 7. Они шли туда в обнимку, распевая во весь голос, так что обитатели всех одиннадцати палат высыпали поглядеть на новых постояльцев. А они шли ни на кого не глядя и пели:

Жил-был у бабушки серенький козлик...  
Бабушка козлика жрать захотела.  
Козлика слопать! — Нет, это не дело, —  
Козлик стал бабушку жрать понемножку,  
Остались от бабушки рожки да ножки...

Макар все время что-то выкрикивал, преимущественно стихи. То про морды, то про Шурочку, то про рваные штаны. А Леонид Неизвестный сел на отведенную ему койку в центре палаты и отвечал всем сразу на вопросы, сыпавшиеся градом:

— Да, знаете, может быть, я и шизофреник... а что это такое, никто не знает... да... отец мой художник, но бездельник, инвалид, ненормальный, обуза для семьи... мать — учительница, кормит всех, кроме меня... есть еще брат... нет, я живу отдельно, снимаю угол в селе Дранково. Пока не плачú... хозяин — пьяница, спекулянт, жалеет меня, не то, что комсомол... Не могу решить, почему мне не хочется жить... да разве это жизнь? Родители, в общем — несносный элемент... как все советское... понятно, они сами

не живут и не могут понять, почему их дети хотят жить, любят свободу... для старых рабов свобода — это и есть любовь к цепям... кто-то сказал... впрочем, может быть, и я — несносный. Да? А почему я должен быть сносным для людей, которых я и знать не хотел бы... у нас все несносные... Этого я еще не решил — может быть, буду скульптором или композитором, а, может быть, поэтом, живописцем... только держимордой не буду... а все остальное неизвестно... Учиться? Но чему, — как не надо писать, рисовать, лепить, жить? Ведь только этому можно научиться у нас... а, может быть, у бегу или утоплюсь всамделишно... нет, мне не до девиц... я за сутки выпивал один стакан кофе и съедал булочку... это все мое питание, вообще-то я очень здоров... могу грузчиком работать, но зачем?

\*

В этот день Андрей Ефимович принимал с утра в тридцать девятом отделении. И первым ему показали Макара Славкова. После осмотра, когда Макара отвели в палату, Андрей Ефимович, как обычно, спросил Кизяк:

— Ваше мнение, Лидия Архиповна?

— Явный шизофреник. Манья величия: считает себя великим поэтом только потому, что пишет в антисоветском духе. Сейчас в состоянии сильного возбуждения.

— А причина возникновения болезни? Рабочий парень. Братья и сестры совершенно здоровы. Есть сопутствующие обстоятельства?

— Очевидно связан со стилиагами, — они ему вскружили голову. К сожалению, такие случаи нередки. Вместе со Славковым поступил его ровесник Неизвестный... фамилия у него такая — тоже шизофреник и на той же почве... Пустые, никчемные мальчишки.

— Лидия Архиповна, а вы читали стихи Славкова?

— Нет... какой-то бред, мне говорили.

— А скульптуру из пластилина Неизвестного вы виде-

ли? Он её назвал: «Человек бродит по улице в поисках интересного дела». Он у нас её слепил.

— Нет, не видела.

— Вижу, — улыбнувшись сказал Андрей Ефимович, — что заместительница хочет полемизировать с заведующей. Я не ошибся, Зоя Алексеевна? Говорят, вы завзятая спорщица. В кулуарах министерства сплетничают, что вы даже не признаете авторитета доктора Бабаджана.

Зоя Алексеевна в ответ не улыбнулась, а заговорила спокойно, с нескрываемой печалью:

— Не знаю... вам лучше знать, Андрей Ефимович... Ваш авторитет я признаю. И должна сказать, что меня совсем не убеждают стандартные заключения Лидии Архиповны. Даже к больным насморком нельзя подходить стандартно. Славков и Неизвестный — оба очень талантливы. И если их произведения не звучат в унисон общепринятому стилю, — хотя я сомневаюсь, что в искусстве может быть общепринятый стиль, но это другой вопрос, — то это не их вина, а беда. Как человек и как врач я не считаю возможным, чтобы целый народ думал и чувствовал одно и то же; по-моему, морально-политическое единство — не реальная вещь, а выдумка казенных оптимистов. Не секрет, что у нас много индивидуалистов, особенно среди творческой интеллигенции, для которых неприемлема ни наша этика, ни наша эстетика, ни наша идеология. На этой почве многие впадают в тяжелые формы депрессии и пытаются свести счеты с жизнью. Славков, — я с ним беседовала не раз, — чувствует себя в тупике, как загнанный зверь. Он не видит выхода. Печатать его же не будут. Свою работу на заводе он рассматривает как принудительный каторжный труд. Его сводит с ума беспросветная нищета. Его бросила любимая девушка, именно как нищего. То же самое с Неизвестным, — ему внушают отвращение наши идеи. Он сказал мне: «Лучше смерть, чем казарменный коммунизм. Они убили искусство, а для меня возможна жизнь только в искусстве». И преступно врачу считать их просто сумасшедшими, буржуазными вырожденками. Дикость. Ведь мы не счи-



гаем вырожденками буржуазных писателей, художников, композиторов, наслаждаемся их искусством, хотя они наши идейные противники. Почему же мы наших идейных противников прячем в сумасшедшие дома? В Снежевске сидит Есенин, у нас — Валентин Алмазов, — ведь это позор!

Зоя Алексеевна умолкла. В комнате царила напряженная тишина. У всех были возбужденные лица. Лидия Кизяк ерзала на стуле, на ее лице были красные пятна.

— Так что же вы предлагаете, Зоя Алексеевна? — спросил академик.

— Обоим, и Славкову и Неизвестному, разрешить для дальнейшего лечения выехать за границу, в страну, которую они сами выберут, — и на неопределенный срок.

— А если они не вернуться? — крикнула Кизяк.

— Это их дело. Ведь у нас не тюрьма. Во всех демократических странах, и даже в царской России, выезд за границу был разрешен всем желающим.

— Ну, это ни в какие ворота не лезет, — развела руками Кизяк.

Зоя Алексеевна даже не взглянула в ее сторону.

— Я полагаю, что мы так же преступно относимся к Валентину Алмазову, Голину, Загогулину и многим другим, которые вообще ничем не больны.

Андрей Ефимович был впервые за многие годы потрясен. Ему стало грустно, что не он, а она, которая могла быть его внучкой, выступила так открыто и самоотверженно. Он горько улыбнулся.

— Да... Зоя Алексеевна... мне вспоминаются романы наших классиков. Тогда врачи частенько рекомендовали больным нервным расстройством уезжать за границу, на воды — как тогда выражались. Но ведь у нас такой реальной возможности нет, дорогая Зоя Алексеевна. Даже если я внесу такое предложение, все, и прежде всего ваш почтенный супруг, доктор Бабаджан, поднимут вой и в лучшем случае сочтут это за выходку старого чудака. Вы ведь знаете, что каждая заграничная поездка рассматривается чуть ли не в Совете министров — валюта! А отправить людей, заведомо

зная, что они не вернутся, значит дать пищу вражеской пропаганде. Из этого ничего не выйдет.

— Но мы ведь врачи, а не шарлатаны. Мы дискредитируем себя в глазах народа. А тем, что мы держим таких людей в сумасшедших домах, мы даем еще больше пищи вражеской пропаганде.

— Да... — академик теперь обратился ко всем собравшимся. — Вопросы, поднятые Зоей Алексеевной, слишком сложные, чтобы мы их могли немедленно разрешить. Завтра я уезжаю в Америку. А когда вернусь, мы вновь их обсудим и постараемся что-нибудь предпринять.

Все думали, что после такого выступления Зою Алексеевну снимут с поста заместительницы, — да и Кизяк не скрывала, что желает от нее избавиться, — но к всеобщему удивлению никаких перемен не произошло.

В два часа дня Андрей Ефимович принимал больных в сороковом женском отделении. Первой привели Наташу Ростову. И снова здесь присутствовала Зоя Алексеевна, хотя она к этому отделению отношения не имела. Она сама об этом попросила Андрея Ефимовича.

Зоя Алексеевна издавна знала профессора музыковедения Аполлона Аполлоновича Ростова, одно время училась у него, — она два года занималась в консерватории, потом по настоянию мужа оставила ее, да и времени не хватало. Однако профессор Ростов не забыл ее и однажды попросил приехать к нему — посмотреть его дочь, которая тогда была ученицей восьмого класса. У Наташи тогда начали проявляться некоторые странности, потом участвовавшие, так что врачи стали поговаривать о каком-то неопределенном нервном расстройстве, хотя и никакого диагноза поставить не могли. В конце концов, они прямо признались, что не знают, как ее лечить. Началось с того, что она не могла вставать по утрам. Когда ее будили, она вставала, умывалась, садилась завтракать, потом начинался приступ — рвота, конвульсии, иногда теряла сознание. Но если ее не будили и она спала, сколько хотелось, она чувствовала себя отлично.

Врачи решили, что все это симптомы слишком бурного полового созревания, и со временем все пройдет.

Однако не проходило.

Ей пришлось перейти в вечернюю школу, потом — в музыкальную.

У Наташи Ростовой было недурное контральто и она могла бы стать незаурядной певицей, если бы хоть в какой-нибудь степени обладала трудолюбием, усидчивостью, постоянством. Но ни одного из этих необходимых качеств у нее не было. Все ей быстро приедалось — занятия, люди лакомства. Фраза, которую чаще всего от нее можно было услышать, была: «Мне скучно».

Она была очень темпераментной и увлекающейся. И вот, — сегодня она не может жить без какого-нибудь мальчика, а завтра видеть его не может и клянет себя: как она могла увлечься таким примитивным субъектом? Плачет от досады. Единственное, что она ценила в жизни — это веселье, развлечения, особенно рестораны, пирушки, загородные поездки, курорты, танцы. Это, собственно, она называла жизнью. А труд, учеба, семья и прочие добродетели она считала только нудными обязанностями, которые надо, по возможности, избегать.

«Мне до всего этого, как до фонаря», — было ее излюбленным выражением.

Наташа Ростова была очень красива, — об этом говорили все с восхищением, завистью, злобой. Поэтому у нее почти не было подруг, зато уйма поклонников, в возрасте от семнадцати до пятидесяти. Но она была не только красива, но и умна, обаятельна, общительна. Она быстро поняла, что ее ждет тысяча разочарований, как и других девушек, равнодушных к социалистическим добродетелям. В это время она случайно познакомилась с одним американцем. Он был очень влюблен, но она отказалась выйти за него замуж. Американец был в отчаянии. И уезжая, взял с нее слово, что если она передумает, пусть даст ему знать. Он будет ждать ее пять лет. Время от времени туристы передавали ей письма от него. Он ждал, надеялся. Потом по-

явился адвокат Шипов, интересный человек, романтик, тоже влюбленный по уши. Жил он вместе с сестрой-горбуньей в одной комнате, хотя зарабатывал пятьсот рублей в месяц. Но для Наташи это были гроши. Она не отталкивала его, но и особых надежд не подавала. Еще сама точно не знала...

Зоя Алексеевна правильно определила заболевание Наташи: ей противопоказан советский климат, надо его поменять на другой. Когда Зоя Алексеевна сказала об этом отцу Наташи, тот глубоко задумался. Да, надо уезжать, но как? Наташа к тому времени уже приняла решение — уехать, а там видно будет, выйдет она за этого американца или нет.

Так как туристы не появлялись больше в ее доме, она решила передать письмо через посольство, — ей, конечно, известно было, что по почте это письмо дальше полиции не пойдет.

И вот — письмо брошено во двор посольства. Приедет ли за ней Майкл? Но пока она в сумасшедшем доме.

Войдя в комнату, где собрались врачи, Наташа приветливо кивнула Зое Алексеевне.

— Ну, барышня, рассказывайте, что с вами, — сказал Андрей Ефимович.

— Если можно, я вам лучше спою.

— Пожалуйста, послушаем.

Наташа спела романс «У нас судьбы разные». Когда она окончила, Андрей Ефимович сказал:

— Хорошо, Наташа, но что нам делать с вашей судьбой, чтобы она не заводила вас так далеко?

— Одно — завезти меня дальше — за океан.

— И тогда все будет хорошо?

— Прекрасно.

— Так... Ну, ладно, идите, отдыхайте.

Когда она ушла, Нежевский обратился к лечащему врачу:

— Ваше мнение?

— Дело ясное... Девчонку распустил отец вопреки настояниям матери. Она и дурит. Неврастения в сильной сте-

пени. Чрезмерно эротична. Ее надо взять в шоры. И тогда она успокоится.

— Навсегда... — сказала Зоя Алексеевна.

— Как вас понять? — спросил ее Нежевский.

— Очень просто. Девчонка покончит с собой. Она мне это сама сказала. Я с ней очень дружна. Я считаю необходимым, чтобы спасти ее, отправить к жениху в Америку.

— Позвольте, у нее жених здесь, — сказала заведующая отделением.

— Кто вам сказал?

— Да он сам — адвокат Шипов.

— Ну, это — чтобы получить свидание. У нее есть такой вздыхатель. Я настаиваю на своем мнении. Она может и здесь что-нибудь натворить. Держать ее — преступление.

— Дорогая Зоя Алексеевна, — сказал Андрей Ефимович, — вы сегодня уже второй раз предлагаете невозможные решения. И... один в поле не воин.

— А вы?

— Я уже не воин... — и тяжело вздохнул, — видимо, пора мне уходить с поля.

Перед уходом Андрей Ефимович сказал ей:

— Зоя Алексеевна, а что если бы вы зашли в мою берлогу... не возражаете?

— Но ведь я теперь падший ангел.

— Все мы — падшие ангелы: и больные, и здоровые, и врачи...

## ВОССТАНИЕ ПАДШИХ АНГЕЛОВ

*Если жутко присутствие среди великой массы слепцов считанных ясновидцев с печатью на устах, то еще ужаснее, по-моему, когда все всё уже знают, но обречены на молчание, и каждый видит правду в прячущихся или испуганно расширившихся глазах другого.*

ТОМАС МАНН

### *Глазами Валентина Алмазова*

Мы все чувствовали себя падшими ангелами на этой страшной земле, но никто не хотел мириться с такой участью и стремился вернуть любой ценой потерянный рай.

Естественно, что сейчас, на досуге, с особой остротой встал вопрос, — что же собой представляет этот потерянный рай, о котором все мы имели смутное представление, особенно — молодежь?

Конечно, все прочли множество книг, настоящих, — и жалкие потуги советских школьных учителей, наёмных писак и агитаторов затмить неумолимую правду этих книг ни к чему не привели. В те дни ко мне обращались самые разнообразные люди. Падшие ангелы явно считали меня Люцифером, и я не имел нравственного права отказаться от этого почетного звания. Я должен был нести им свет правды. И я зажег свой фонарь и не гасил его ни днем, ни ночью, несмотря на все усилия полицейских. Впрочем, не следует

преувеличивать их роль и значение, — не только я, но и все другие, даже мальчики, не считали их людьми, а чем-то вроде придорожных репейников. К ним относились с таким нескрываемым презрением, так подчеркнуто грубо, что мне даже порой неприятно было.

Теперь вся наша жизнь словно превратилась в мятеж восставших ангелов, — пока это была репетиция в палате № 7, но мы уже видели в своем воображении уличные бои, баррикады, поверженного врага.

И первое, что мы решили единогласно, — и это стало нашим знаменем, — провозгласить Декларацию прав Человека. Она не была сформулирована. Правда, все выкриками одобрения и рукоплесканиями приняли мое краткое слово:

— Друзья! На мир, на жизнь можно смотреть по-всякому. Одни восхваляют рабство, другие — свободу. В сущности, вся история человечества — это борьба закоренелых крепостников и рабовладельцев со свободолюбивыми людьми. Я думаю, все со мной согласятся, что если всё спорно, все блага жизни могут быть опорочены, то существует одно несомненное — Свобода, которая, по-моему, и есть душа Жизни, — рай, который мы потеряли и хотим вновь обрести. Да здравствует Свобода!

Взрыв аплодисментов и бурные выкрики прервали на минуту мою речь.

— Вижу, что попал в точку. Я, ваш Люцифер, вместе с вами поднимаю восстание не против Бога, которого мы чтим, а против Дьявола...

Стрункин погнал нас на прогулку раньше обычного, — он не отходил все время от дверей нашей палаты. В последнее время он стал проявлять ко мне особое почтение.

— Слушайте, Валентин Иванович, — говорил он просительным тоном. — Бросьте это дело. Вы ведь этим ничего не добьетесь. Вас тут будут держать годы или сошлют в Столбы. Всё-таки лучше жить дома с семьей.

Гуляли мы два раза в день. Каждое отделение имело свой загон, огороженный бетонным забором с небольшими

щелями. Зачем нужно было хороший старинный парк превратить в десятки загонов? Но ведь тогда бы не было ощущения тюремного режима. Когда мы выходили и возвращались, Стрункин нас пересчитывал, как телят. Калитки загонов запирались. Постоянно приходили родные, друзья, близкие — часто стояли у забора, в грязи или в снегу, тихо беседовали, целовались, плакали. Приходила и жена Павла Николаевича Загогулина, несмотря на то, что он ее гнал. Приводила детей, чтобы иметь возможность поговорить с ним. «Татьяна-Вырви Глаз» — прозвали ее все, даже сестры и санитарки. Она не могла примириться с мыслью, что потеряет высокий оклад мужа. А Павел Николаевич заявил, что разведется с ней сразу, как только выйдет из больницы. Уговаривала его и Кизяк. Обещала выписать, как только он помирится с семьей.

К Славкову, Антонову, Неизвестному и Коле Силину приходили очень редко. Во время прогулки они играли в волейбол. А порой, когда в окне второго этажа показывалась Наташа Ростова, все по очереди разговаривали с ней подолгу, для чего изобрели специальный язык жестов.

Безделье мучило всех. Меня тоже, — порой невыносимо. Солдаты должны воевать. Длительное бездействие разлагает лучшую армию.

Чтобы окончательно оболванить узников, завели так называемую трудовую терапию — клеить коробочки. Но почти никто не соглашался заняться этим отупляющим трудом.

Так мы жили, — то-есть, днем и ночью говорили о жизни, которой нет, но которая обязательно будет.

\*

Обо мне появилась первая статья в крупной американской газете. Полицейские всполошились. Это был первый удар. За ним последуют другие. Эти идиоты все еще думают, что могут меня вернуть, купить. Они не понимают, что я ушел навсегда, что теперь я — их враг.



Эти тупицы не понимают, что я — не один человек, большой или малый, а — стихия, сверхмощная ракета, начиненная ненавистью. Палата № 7 — школа ненависти. Десятки учеников превращены в тысячи последователей. А жене моей и дочери полицейские предлагают деньги, помощь! Ослы!



Санитарка принесла мне письмо от Наташи Ростовской. Она каким-то образом достала мою книгу, изданную за границей. Множество комплиментов. И потом:

«Может быть, Вы что-нибудь напишете обо мне. Я ведь тоже inferнальная, как Ваша Римма. Знаю, что все мы, inferнальные, обречены. Все говорят, что я сильная, волевая, даже жестокая, играю судьбами людей, как мячами. И это, пожалуй, верно. Но Вам я признаюсь, как на исповеди, — я верю в Бога, — что в действительности я совершенно беспомощна, ничего не умею, ни на что у меня не хватает сил, — ни на подвиг, ни на материнство. Раньше мне казалось, что я очень люблю себя, но здесь я убедилась, что и это — не настоящая любовь, а только временное увлечение, которое уже проходит.

Что же мне еще о себе сказать Вам, — я должна все Вам сказать, потому что Вы один можете решить, достойна ли я большой судьбы. Хотя обреченная, но еще не пропащая. Мне кажется, что я могу еще пошуметь и позабавить мир, — разумеется, не в нашем иезуитском монастыре, — может быть, даже осчастливить моего американского претендента. Ведь осчастливить хотя бы одного человека — тоже достойное дело, вероятно, более достойное, чем сделать несчастными двести миллионов рабов. Я поручила адвокату Шипову хлопотать, чтобы меня отпустили в Америку к моему жениху. В награду обещала не забыть его, по крайней мере, три года. Он писал мне, что вспоминать мне придется о покойнике.

Все думают, что я страстная, чувственная. Не знаю, может быть, это и зарождалось во мне. Но я не выношу

похоти и вожделения. А наши рыцари не способны на настоящую страсть, как Митя Карамазов или сам Достоевский — помните, его безумный роман с инфернальной Аполлинарией Суловой? Вероятно, все его героини чем-то на нее похожи? Но мы ее так мало знаем. Мне кажется, что и я на нее похожа.

Я тоже могу еще долго мучить людей. Но желания убывают. Наша жизнь так бедна, стандартна, безнадежна и ограничена, что убивает самое желание жить. Такие, как я, — излишняя роскошь для советской действительности. «Без излишеств!» — вот её лозунг. А ведь искусство, красота, инфернальные женщины — всё это излишества, без которых жить не стóит.

Мне еще хочется быть хлыстовской богородицей, как Марина из Клима Самгина, хотя я совсем, совсем другая. Горький тоже любил инфернальное — Вы заметили, все его героини далеки от революционных идеалов. Жаль, что я все-таки никому счастья не принесу. А ведь могла бы...»

Я полюбил Наташу Ростову. Ведь она теперь моя героиня. Даже единственная. Красавица, которая ходила к Коле Силину, больше не показывается. Я спросил его:

— Горько?

— Разве может быть горше? — спросил он удивленно. У него всё время удивленный вид, словно он не верит тому, что живет.

— Но потеря... и такая?

— Вы думаете, что я могу еще ощущать потери? Я даже больше говорить не могу. Простите...

Но у меня есть еще одна героиня — Зоя Алексеевна. Однако она мне не родная, как Наташа Ростова. Наташа — целиком моя, моя плоть и кровь, моя душа, а Зоя Алексеевна подсознательно хочет со мной породниться, но не может. Она приближается ко мне трудным извилистым путем из чужого мира, враждебного... И у меня нет уверенности, что она сумеет вырваться оттуда.

И вообще, — признаться, — трудно мне с новыми героинями: они не знают, куда они идут, и я тоже не знаю.

## БЕГСТВО В НИКУДА

*Тогда я не знал, что огромные массы народа могут быть отравлены и погублены одним единственным человеком и в свою очередь отравлять и губить честных людей, — что нередко массы, однажды обманутые, продолжая коснеть во лжи, хотят быть снова обманутыми и, поднимая на щит всё новых обманщиков, ведут себя так, как вел бы себя бессовестный и вполне трезвый злодей.*

ГОТФРИД КЕЛЛЕР

Прочтя эти слова гениального швейцарца, Зоя Алексеевна пришла в такое волнение, что не могла усидеть на стуле и принялась ходить взад и вперед по комнате, и мысли, как лава из внезапно вспыхнувшего вулкана, начали заливать ее голову и сердце.

Ей все больше казалось, что в этих словах выражена и исчерпывающей полнотой и ясностью история ее жизни и вся история ее родины после революции. Она начала прозревать. Словно туманная пелена сползала с неба, солнце озарило все вокруг, и стали видны зеленые окрестности, и синяя бездонная пучина вселенной. И как всегда бывает в такие минуты прозрения, нахлынули воспоминания о начале жизни, потом пошли поиски того перекрестка, откуда она свернула в эти непроходимые джунгли и теперь мучи-

тельно искала выхода и спасения. И снова перечитывала слова Келлера.

— Да ведь так оно и было, — повторяла она, не замечая, что начала говорить вслух, — огромная масса народа нашего была отравлена одним-единственным человеком, — это продолжалось четверть века. И яд впитался так глубоко, что все мы продолжаем коснеть во лжи этого иезуитского социализма, уже сами хотим быть обманутыми и поднимаем на щит новых обманщиков...

— Что ты там бормочешь? — раздался надтреснутый, — будто шагал кто-то по битому стеклу, — голос Христофора Арамовича.

— Разве?

— Заговариваться стала? Смотри, как бы сама не попала в палату № 7 — эта палата у всех теперь на языке.

— Тебя это волнует?

— Разумеется. Что скажут люди? Общественность! Я — глава семьи.

— Но какая у нас семья?

— До этого никому дела нет. Семья — и всё. Советская семья должна быть образцовой, примерной.

— Пожалуй. Она уже является примером полного распада семейной жизни.

— Такие обобщения не делают чести советскому врачу. Только помогаешь идейным противникам. Вот у вас там сидит Алмазов, — недавно вышла его книга за рубежом, все наши враги подняли ее на щит. Он тоже делает такие обобщения... Да — фрукт! Горжусь, что подписал приказ о его водворении в сумасшедший дом.

— Да... значит, это ты... А я всё время думала, какой же это подлец взял на себя добровольно роль палача...

— Как ты смеешь? — топнул ногой Бабаджан.

— Уходи, гадина! Я еще с тобой сочтусь.

Бабаджан что-то буркнул и ушел.



На следующий день Зоя Алексеевна дежурила. День выдался тяжелый, хлопотливый... Стоял конец октября, та унылая, неприглядная поздняя осень, когда деревья, потеряв свой многоцветный наряд, выставляют напоказ почерневшие оголенные сучья и напоминают старых кокеток, снявших вечерний туалет, грим и видящих в зеркале отвисшие складки морщинистой кожи, торчащие ребра, уродливые лица, потускневшие глаза.

Это время было всегда особенно тяжелым для персонала психиатрических больниц. По давно установившемуся обычаю, перед октябрьскими праздниками в больницы прибыли тысячи новых пациентов. Это все был элемент беспокойный, ненадежный, — ну, из тех, которые могли бы испортить праздники, пробравшись в ряды манифестантов и крикнув: «Долой коммунизм!» К этому же разряду принадлежали алкоголики, шептуны, распространявшие слухи, что вскоре снова повысятся цены, и любители побеседовать в очередях за лапшой, пшеном, баранками, хлебом — очередей становилось всё больше.

Люди спали вскуду: в коридорах, на полу, на столах... Снова появился Дормидонт Ферапонтович Фиолетов в своем неизменном колпаке из листов «Крокодила».

— Опять попался... А вы всё отбываете... Как попал? Очень просто. Знаете, перед праздниками, по ночам на Красной площади воинские части, физкультурники репетируют манифестацию народной любви и восторга к властям предержавшим. Ну, я тоже решил принять участие. И, придя в восторг от всего этого, решил крикнуть один из популярных ленинских лозунгов, вспомнить старину, и крикнул: «Долой самодержавие! Да здравствует Свобода!...» Голос у меня зычный. Эхо прокатилось до самого Василия Блаженного. А тут, откуда ни возьмись, — блюститель порядка. — «Вы что тут, гражданин, безобразничаете?» — Как, это, — говорю, — безобразничаю? С каких пор провозглашение ленинских лозунгов стало безобразием? — «Несвоевременно, —

говорит, — провозглашаете. А ну-ка дыхните.» — Дыхнул. «— Ну, гражданин, пожалуйста.» — Куда, — спрашиваю. — Я не пьян, не нарушаю порядка. «— Я и не говорю, что вы пьяны, а направлю вас по месту назначения». — Ну, я спорить и пререкаться не стал. Место назначения мне известно. Отчего не провести праздник с хорошими людьми?..

\*

Валентин Алмазов давно изобрел своеобразную игру в бедность-богатство. Он придумал ее еще в годы юности, когда прочел слова Сологуба, которого очень любил: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из нее сладостную легенду, ибо я — поэт». И вот так он брал кусок жизни грубой и бедной, расцветивал ее в своем воображении в нечто яркое и невиданное и переселялся в этот созданный мир, и жил там, пока не уставало воображение, и приходилось опускать занавес.

Поэтому сейчас ему не было тоскливо на Проспекте Сумасшедших, где шел праздничный карнавал в тысячу раз более яркий, чем казенная однообразная манифестация с бумажными цветами и принудительным весельем, которая затопляет улицы, как осенний слепящий ливень. Разве встретишь нестандартного, вольного человека по ту сторону бетонной ограды?

Валентин Алмазов с отвращением вспомнил тошнотворные празднества, восторженный, захлебывающийся лай газетных шавок, репродукторов, халтурщиков всех жанров, жадно загребавших в такие дни свой дополнительный рацион к скудной зарплате. Здесь же, в изоляции, были серьезные люди, они не давали интервью подхалимам, а беседовали как равные с Жизнью и Смертью.

\*

Администрация была встревожена. Кизяк просила Бабджана перевести ее в другое отделение, поскольку здесь

работает Зоя Алексеевна, — она лучше обеспечит порядок, более решительно. Бабаджан ей резко возразил:

— Ни о каких перемещениях не может быть и речи. Смотрите в оба. Особенно теперь, когда там этот Алмазов. Им занимается мировая пресса. Вы обязаны доказать с максимальной объективностью, что он тяжело болен. Иначе нам всем грозят большие неприятности.

— Христофор Арамович, доказать это невозможно.

— Почему?

— Потому что он не болен. Нет объективных данных. Наоборот, результаты обследования свидетельствуют, что он совершенно здоров.

— Вы знаете, о нем запрашивали из ЦК... А выписать я его не могу без указания сверху. А наверху тоже не все согласны. Ищите выход.

— Я не могу найти выхода... кроме...

— Что кроме? Говорите скорее.

Но тут Бабаджана срочно вызвали к министру, и она не успела изложить ему свой план, который долго вынашивала.

Так дальше продолжаться не может, — палата № 7 очаг заразы... Надо их разогнать в разные концы. На это не согласится Зоя Алексеевна. Уломать ее невозможно. Поэтому Кизяк решила просить Бабаджана дать указание главному врачу раскассировать палату № 7 — больных разослать в разные города.

\*

Как прекрасно играть в богатство-бедность! Воображаемая жизнь нисколько не подчиняется законам действительности, — но беда в том, что её нельзя увековечить. Пока бежим в никуда — до завтра, только до завтра.

Кизяк кое-чего добилась. Поступило распоряжение от править иногородних по месту жительства. И вот, в одиннадцатом часу ночи прибыла машина и увезла Фиолетова.

Голина, Антонова. Куда их везут, — не сказали. По месту жительства? А ведь у них постоянного места нет. Расставаться с Володией Антоновым и Голиным было тяжело. И тогда впервые все из палаты № 7 дали торжественную клятву — по всей Руси готовить борцов за свободу, водрузить знамя свободы во всех сердцах русских, уже раскрытых, полных трепетного ожидания.

Потом каждый уходящий давал такую клятву. И впоследствии эта клятва никем не была нарушена.



## ЧЕРНАЯ ХРОНИКА

*Снявши голову, по волосам не плачут, ибо все силы мироздания были обращены на то, чтобы эту голову снять.*

СОМЕРСЕТ МОЭМ

Коля Силин лежал на койке в углу и вот уже третий месяц ни с кем не разговаривал. Его даже иные начали побаиваться. Очень жутким было его кричащее молчание. И заговорил он накануне праздника. Все были так поражены его речью — и тем, что он заговорил, и его необычайным, не то пророческим, не то обреченным голосом, — что всё время молчали. Все понимали, что он катастрофически несчастлив, и ничего хорошего не ждали.

И вот он сказал:

— Я слушаю давно ваши разговоры. И мне жаль вас. Вы мне напоминаете овец, мечтающих о просторах альпийских пастбищ, когда их гонят на бойню. Вот и всё, что я хотел вам сказать.

Ночью он повесился в уборной. Дежурные, как обычно, крепко спали.

Его забрали чуть свет. Прибежал главный врач. И с ним какие-то военные и штатские шпики. К обеду стало известно, что Лидия Кизяк отстранена, — исполняющей обязанности заведующей временно назначили Махову.

Ночью Валентин Алмазов писал:  
 Ни одна мысль не может быть понята до конца.  
 Конечные мысли — это пошлость.

До конца можно понять только подлеца, — мудрые непостижимы даже для самих себя.

А было ли все это именно так, — возможно, что всё это было страшнее, — такого на свете еще не бывало, — и я хочу, чтобы этого не было, забыть, — иначе я боюсь проклясть мою родину, мою мать, которая родила меня на русской земле в Киеве, матери городов русских, в осенний день. Но мне пришлось это увидеть воочию — этот кошмар мне не снился, я пережил его — и все это так же правдиво, как несуществующее небо, которого не признают ученые, так же как Бога, и которое, так же как Бога, воспевают поэты и пророки с тех пор, как звучит на земле человеческое слово.

И вот вы выслушали эту черную хронику. Ведь розовая — мало любопытна. Редакции газет оплачивают ее по пониженной расценке.

Спешит жизнь, нагромождает свои уродства и жестокости, разгримировывает красавиц, срывает безжалостные маски, морщит лбы, серебрит виски у студентов, — сидят мои юноши, и Толя Жуков, и Женя Диамант, и Макар Славков, и Леонид Неизвестный. И это страшит меня. Я боюсь опоздать. Время постоянно обгоняет наши представления о нем и может летним зноем опалить наши внешние чаяния, и сорвать листву осенним ветром, когда мы еще будем маяться в мае, и так лягут наши мечты, как опавшие листья под могильный покров снегов.

Об этом я и говорил Зое Алексеевне в этот вечерний примолкший час, когда затихают последние шаги на Проспекте Сумасшедших.

Зоя Алексеевна слушала молча. И по выражению ее лица я понял, что она сильно взволнована, хочет в чем-то признаться и не решается.

— Зоя Алексеевна, вы должны себя вести со мной, как с другом.

— Знаю. Я никогда не встречала и больше не встречу такого человека, как вы. Я думаю о вас постоянно. Не сплю по ночам. Вы вздернули мою душу на дыбы.

— Рад, что не ошибся в вас. Жив еще русский народ. И мы должны быть вместе, все честные русские люди.

— Нет, нет, этого я не могу, — почти крикнула она. — Я не могу быть с вами, неспособна на бунт. Скорее смирюсь, стану послушной рабой.

— Вы на этом не остановитесь. Советская власть — чужая, иноземная. А вы — русская. Вы боитесь это понять. Но поймите. Вы уже оторвались от нее, вы кружитесь на ветру, будет буря, — большая буря...

— Может быть, вы и правы... Я не в силах с вами спорить. Сердцем я на вашей стороне... Но оставим это. Я вас потревожила по важному делу. Приехал Андрей Ефимович. Он читал о вас за границей, беседовал. И настаивает, чтобы вас немедленно освободили. Бабаджану пришлось согласиться. Но... тут есть неприятное «но». Надо же написать какой-то диагноз. Иначе придется судить Кизяк и других. Мы напишем что-нибудь туманное — что хотите. Не стбит заводить эту волюнку.

— Согласен. Пишите, что хотите, — только не психическое заболевание.

— Это я предвидела. Я думаю написать невинную вещь, почти неизбежную в вашем возрасте: артериосклероз. Ладно? Так что приготовьтесь.

— Всегда готов. Ко всему готов. К жизни и смерти.

— Это хорошо. Я думаю, и других вскоре выпустят, — Николая Васильевича прежде всего. Бабаджан серьезно боится палаты № 7.

— Не только он. Палата № 7 превратится из маленькой больничной палаты в штаб борьбы за свободу... Наш коло-

кол уже звонит на том берегу. И я верю, что недалек тот час, когда зазвонят московские колокола.

Зоя Алексеевна отвернулась, — она плакала.

\*

Пришла дежурная сестра и отвела Валентина Алмазова в палату.

И снова была ночь, бессонница, кошмары, — и на этом я прекращаю дозволенные речи.

Москва, 1963 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Биография В. Я. Тарсиса	5
Предисловие автора. Три года спустя...	9
Глава 1. Проспект сумасшедших	13
Глава 2. Голгофа	35
Глава 3. Мученики начинают хождение по мукам	59
Глава 4. Отойди от меня, Сатана!	69
Глава 5. Я люблю жизнь, но меня любит смерть	81
Глава 6. О, дайте, дайте мне свободу	93
Глава 7. Падший ангел	113
Глава 8. Восстание падших ангелов	133
Глава 9. Бегство в никуда	139
Глава 10. Черная хроника	145

Готовится к печати в издательстве «Посев»  
Собрание сочинений В. Я. Тарсиса

- Том I — III **Прекрасное и его тень**, трилогия,  
состоящая из романов:  
— Столкновение с зеркалом,  
— Порочный круг,  
— Черная тень.
- Том IV **Комбинат наслаждений**, трилогия,  
состоящая из романов:  
— Веселенькая жизнь,  
— Комбинат наслаждений,  
— Тысяча иллюзий.
- Том V **Кто любит невозможное**,  
фантастический роман.
- Том IV **Рассказы, написанные иголками в  
уголках глаз, семнадцать новелл и  
повесть Седая юность.**
- Том VII **Флорентийская лилия**, исторический  
роман.
- Том VIII **Три книги стихов:  
Ночь разводится со днем  
Сомневаюсь во всем  
Танго перед закрытием  
Адский рай**, поэма.
- Том IX **Рискованные догадки**, пять циклов  
философских этюдов.
- Том X **Недалеко от Москвы**, роман.
- Том XI **Синяя муха  
Красное и черное  
Палата № 7**

Издательство «Посев» объявляет предварительную подписку на Собрание сочинений В. Я. Тарсиса. Собрание сочинений предполагается выпустить в течение двух лет. Предварительная подписка обеспечивает подписчику получение номерных экземпляров издания на льготных условиях. Номера закрепляются за подписчиками в порядке поступления заявок. Минимальный взнос при предварительной подписке — 40 германских марок или 10 американских долларов. Взнос следует переводить на почтовый текущий счет или на банковский счет издательства «Посев» одновременно с подпиской.